



К.К. СЕРГИЕНКО  
БОРОДИНСКОЕ  
ПРОБУЖДЕНИЕ

Д

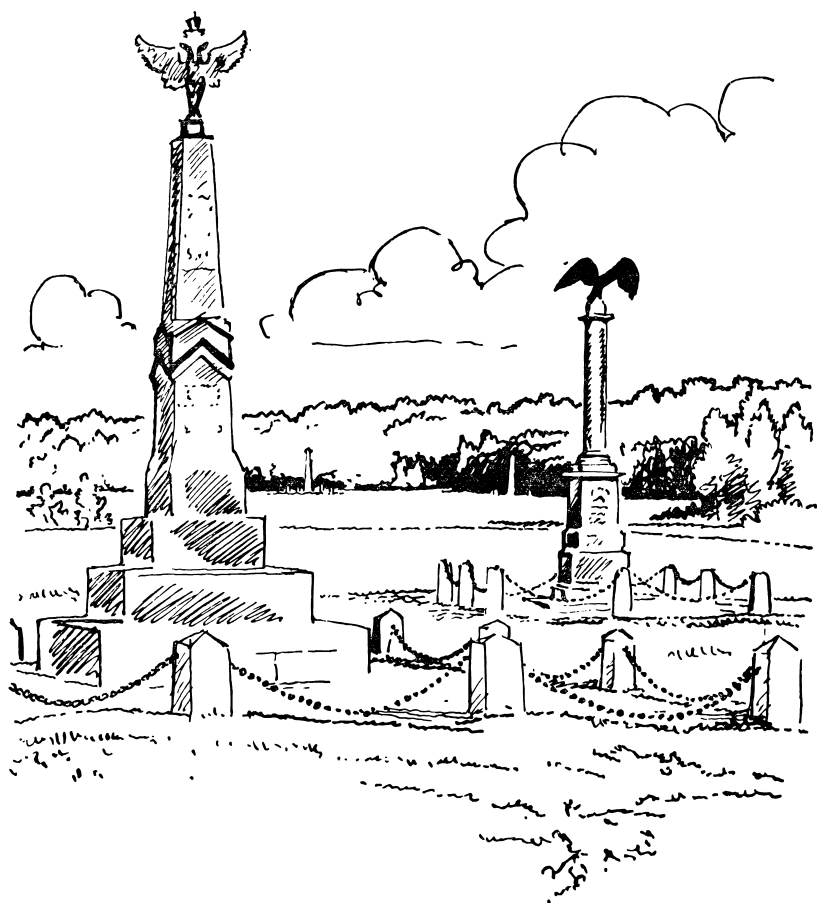












К. К. СЕРГИЕНКО

# БОРОДИНСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

*Повесть*



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981



Р 2  
С 32

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Рисунки Л. Д у р а с о в а

С  $\frac{70803-059}{M101(03)81}$  35р—81

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.



*Но не хочу, о други, умирать...*

А. Пушкин

Шел мелкий дождь. Такой дождь, когда не видно капель, только мокрая пыль летит с неба, образуя призрачные тени, похожие на чьи-то фигуры.

Небо вплотную спустилось к земле. Казалось, вот-вот оно припадет к неровным изгибам поля, и тысячи людей вокруг невысоких холмов ждали, когда легкий небесный дым коснется их мокрых лиц.

Они лежали, закинув головы, взявшись за руки, обнявшись. Некоторые сидели, прикинув друг к другу. Некоторые остановились в позе стремительного бега, воздев руки.

Тишина. Десятки тысяч мертвых людей раскинулись в поле. Небо смотрело на этот привал смерти сквозь мокрую пыль своего дыхания, и судорога проносилась по нему вместе с порывами ветра.

Через поле на белой лошади ехал всадник. Он двигался медленно и неровно. Иногда останавливался и объезжал груды тел, разбитые пушки, разорванных лошадей. Конь его вздрагивал, скалился и безумно поводил белками.

В одном месте всадник спешил. Здесь не было травы. Верхний слой почвы, взрытый и перемешанный ядрами, зиял, как огромная черная рана.

Усатый солдат одной рукой обнимал мокрое черное ядро, а в другой сжимал обломок клинка. Он сидел у лафета и хмурился, но торжественно смотрел перед собой. В застывшей слюде его глаз еще светился отблеск боя.

Вокруг него венком сплелись несколько тел. Он сидел среди них по-королевски, казалось погруженный в глубокую думу. Живые капли дождя сбегали по его щекам и падали с усов.



Чуть в стороне лежал молодой офицер в белой рубашке, перепачканной землей и кровью. Его глаза были закрыты. Всадник подошел к нему, ведя лошадь на поводу.

Вдруг веки офицера дрогнули: он был еще жив. Глаза его увидели сначала небо, потом всадника. Он сделал движение губами и попытался поднять руку, но его посеревшее лицо дрогнуло от боли.

— Потерпи,— сказал всадник.— Ведь мне тоже больно. Офицер прикрыл веки.

Всадник расстегнул мундир, что-то достал из кармана и вложил в руку офицера.

— Возьми,— сказал он.— Это твое.

Офицер сжал ладонь.

— Ты догадался? — спросил всадник.— Ты понял, кто я? Да, сказала лицо офицера.

Всадник уже сидел на коне.

— Сто тысяч,— сказал он.— На этот раз сто тысяч без малого, я считал.

Он приподнялся в седле и оглядел поле боя.

— Своих я знаю в лицо,— сказал он.— Вот он из моих.

Всадник показал на усатого солдата с клинком в застывшей руке.

— Прощай,— сказал всадник.— Потерпи. Теперь уж не долго осталось.

Он уехал все тем же медленным шагом, зигзагом пробираясь по полю.

Офицер лежал, глядя в небо. Тени, которые металась в сите дождя, казались ему фигурами знакомых и незнакомых людей. Фигуры эти тянулись в небо, взмахивая руками.

Потом судорога пробежала по его телу и глаза закрылись.



# Часть первая

*Минувшее меня объемлет живо...*

А. Пушкин

## 1

В то жаркое лето я думал над книгой о Бородинском сражении. Целые дни я проводил в библиотеке, много читал, выписывал. К вечеру голова тяжелела, тогда я выходил в густеющий воздух Москвы и сначала стоял, прислонившись к теплым гранитным колоннам. Отсюда виднелось тяжелое золото куполов и каменные башни Кремля.

Мимо с мягким шелестом проносились машины, и, закрыв глаза, я долго не мог представить на их месте кареты, которые таким же горячим летом 1812 года, наверное грохоча и подпрыгивая, катили к дому Пашкова на вечерние балы.

Домой я шел не сразу, а долго бродил по московским переулкам. Город затихал, исчезали прохожие, и теплая комнатная темнота облекала улицы.

Внезапно какое-то движение в освещенном окне, острая белизна колонны или загадочный разлет деревьев над крышей возрождали во мне ощущение прошлого. Тогда я останавливался и с пронзительной ясностью понимал, что все это было. Не просто в книжных строчках, не просто в моей голове, а наяву, так же реально, как теперь, когда шаги мои замирают на середине улицы.



Раскаленные за день дома превращались в каменную печь. Быть может, это способствовало иллюзии, быть может, разогретые стены особенно легко источали свои тайны, но запах времени мерещился в старых переулках Москвы, над крышами мезонинов таинственно выглядывала луна.

Странно, но в такие минуты, когда, казалось бы, в пору забыть о настоящем, оно отзывалось во мне обликом Наташи. Движение в освещенном окне становилось ее жестом, за белой колонны мелькало ее платье, звук ее голоса проносился в голове.

Последний раз я видел Наташу прошлой осенью. Тогда мы поехали в Бородино. Один знакомый, работавший в панораме, зазвал нас туда на празднество годовщины Бородинского боя. Он обещал «незабываемое зрелище».

Помню, с утра было солнце, но, когда мы приехали в Бородино, оно ушло под низкий навес облаков. «Незабываемого зрелища» я не увидел, не увидел самого Бородинского поля. Открытыми остались отдельные части, остальное заросло перелесками и посадками вдоль новых дорог.

Еще со времени чтения «Войны и мира» в моей голове осталась величественная панорама, увиденная Пьером, когда он поднялся на курган. Там был простор и обрамление леса где-то вдалеке, а по всему полю блеск оружия, грохот и дымы канонады.

Теперь я стоял на том самом кургане у памятника Багратиону и тщетно пытался вызвать в себе отзвук былого. Дул сильный ветер, погода все больше портилась. Влево и вправо расходились перелески, только впереди открывался какой-то простор и белела колокольня церкви.

Подъезжали автобусы, торговали ларьки и фургоны. Толпы людей бродили между музеем и курганом Раевского в ожидании начала праздника. Наконец построился военный оркестр, загремели марши, и солдаты в форме двенадцатого года вынесли старые русские знамена.

Потом были речи. Я плохо слышал, потому что стоял далеко от деревянной сцены и порывистый ветер путал и отбрасывал звуки в сторону.

Во время этой поездки мы поссорились. До этого я плохо спал ночью, и настроение было неважное. В Бородино я думал только о том, как побыстрее уехать. Наташа, напротив, была оживленна, с интересом осматривалась и слушала экскурсоводов. На кургане Раевского ей что-то долго рассказывал седой

человек. Она все время оглядывалась, как бы зовя подойти, но я остался на месте.

Меня раздражало, что она слушает скучных экскурсоводов, с кем-то разговаривает. Я не понимал ее оживления. Мы и до этого ссорились, но так, как в Бородино, никогда. В беспорядочном разговоре сказали друг другу много обидного. Конечно, разговор такой давно назревал. Слишком многое в наших отношениях оставалось нерешенным, и теперь я думаю, по моей вине.

Из Бородино я уехал один, не дождавшись конца праздника. Наташа осталась со знакомым, который в своих заботах не заметил нашей ссоры, а только уговаривал посмотреть представление по своему сценарию, а уж потом ехать на его машине.

В электричке ко мне подсел тот самый седой человек, который разговаривал с Наташей на кургане. Он назвался Артюшиным, полковником в отставке, и стал рассказывать о своей домашней коллекции оружия и документов 1812 года.

Потом он спросил:

— А где же ваша прелестная дама?

Я не нашел ничего умнее, как ответить, что потерял свою даму на поле битвы.

— В прежние времена все было иначе,— сказал Артюшин.— Дамы теряли своих кавалеров на поле битвы. Тому есть впечатляющие примеры.

Он принялся рассказывать длинную и, как мне тогда показалось, сентиментальную историю о Маргарите Тучковой, искавшей своего мужа на Бородинском поле. Я слушал вполуха, но всем сердцем предчувствовал непростую размолвку с Наташей.

Прощаясь, Артюшин приглашал меня в гости смотреть свою коллекцию, которой, видно, очень гордился.

На следующий день я позвонил Наташе, но там не ответили. Звонил еще несколько раз и стал думать, что трубку не берут намеренно. Тогда я не знал, что, вернувшись из Бородино, Наташа уехала по телеграмме домой.

Потом и я уехал на целый месяц, а когда вернулся, меня ждала новость. Хозяйка квартиры, в которой Наташа снимала комнату, сказала, что Наташа взяла академический отпуск и уехала к больной матери. Когда вернется в Москву, неизвестно.

Сначала я ждал письма. Может быть, стоило написать са-



мому, но я не знал адреса, скорее, не хотел узнавать, потому что все-таки ждал, что она напишет первой.

И вот подошло новое лето. Оно навалилось на город жаркое и неуклюжее, как медвежья доха. Обливаясь потом, медленно брели люди. Горели леса и торф в Подмосковье, и вечером горьковатая дымка пожара наглухо запирала город. Старухи во дворе судачили о причинах необычной жары. Температура упорно держалась за тридцать. Знакомый из панорамы сообщил, что такой разгон лето брало только в 1812 году.

Торф, леса, деревянные постройки... Но что-то горело и у меня, выгорало внутри. Не ладились статьи, не ладились отношения с кем-то из знакомых. Я ничего не знал о Наташе, но часто думал о ней. Все больше я понимал, что без нее мне трудно. Я был готов поехать и разыскать ее, но что-то удерживало.

Внезапно я решил написать о Бородинском сражении. Память все время возвращала рассказ Артюшина. Еще раньше попало стихотворение, в котором упоминался печальный взгляд генерала Тучкова.

В библиотеке я разыскал портреты героев двенадцатого года, а среди них генерал-майора Тучкова. Это правда, выражение его лица полно печали и как бы предчувствия близкой гибели. Но еще больше в этом красивом и тонком лице глубокой, я бы сказал, затаенной любви. Генерал Александр Тучков пал в молодые годы на Бородинском поле, и тело его осталось найденным среди тысяч других.

Уже после бегства французов его искала жена. Целый день, а потом и ночь с факелом бродила она в черной накидке среди костров, на которых сжигали останки павших, но так и не нашла тела мужа. На месте гибели она велела поставить часовню, а сама ушла в монастырь.

Что-то теперь отзывалось во мне на эту казавшуюся раньше сентиментальной историю. Быть может, тому способствовало необычное лето, так сходное с жарким летом двенадцатого года. Быть может, чувства мои обострились разлукой, и я понимал, что такое потеря. Быть может, в сознании упорно мелькал бородинский пейзаж, где в последний раз видел Наташу.

Во всяком случае, чаще и чаще я открывал книги о двенадцатом годе. Я втягивался в его тревожный возвышенный мир, проникался его настроением. И наконец, строки Пушки-

на, которые встретил, перечитывая «Повести Белкина», стали последней и ясной ступенью его понимания:

«Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания!»

Я почувствовал нерв тех великих дней. Мне показалось, что он затаен и во мне, в каждом из нас, и время любви, славы и восторга еще вызовет его к жизни.

## 2

Я стал бывать у Артюшина. Его большая квартира походила на музей, да и была музеем. Сотни предметов — оружие, одежда, рисунки и документы, — все из истории двенадцатого года, были расставлены, развешаны и разложены по стеллажам до потолка.

Он прекрасно знал чуть ли не каждый день войны. Казалось, и знать больше нечего, но вот он приобретал пожелтевшую страничку рукописи, старый орден, еще что-то и радовался, как ребенок.

Одна комната была занята муляжем Бородинского поля и глиняными шеренгами солдат всех полков. Фигурки аккуратно раскрашены. Войска — пехота, кавалерия, пушки расставлены по фронту в том же порядке, как в Бородинском бою.

— Я только число убавил, — говорил Артюшин. — Одна фигурка заменяет роту. Но форму и цвет войск отразил по возможности точно. Вот лейб-гусары, у них красные ментики. Синие с малиновым — это уланы. А вот пехота, у нее красные воротники...

— С французами у меня хуже, — говорил Артюшин. — Я в синее их обрядил, хотя там пропасть разных мундиров.

Он в деталях показывал мне главные эпизоды Бородинского боя. Атаки на Багратионовы флеши, схватку за батарею Раевского. Понемногу и я заразился подробным интересом к Бородину. Взялся в библиотеке за многотомные описания.

Трудно придумать что-нибудь более сумбурное и путаное, разноцветное и разнокалиберное, чем армия тех времен. По несколько раз в год выходили указы о перемене цветов и покроев одежды, замене калибра и введении нового оружия.

Гусары, драгуны, уланы, егеря, гренадеры и мушкетеры, кирасиры и кавалергарды, казаки и артиллеристы — все перемешалось у меня в цветистый калейдоскоп.

Целую папку я заполнил набросками, потому что рисунки к повести хотел сделать сам, а кроме того, одежда под карандашом словно оживала и требовала хорошенько ее рассмотреть.

Один гренадерский кивер с султаном из конского волоса, с золоченой кокардой в форме ядра с тремя язычками пламени, с подвязным ремнем из золотистой чешуйчатой тесьмы, с этишкетом — трехцветной плетеной нитью, наброшенной на тулью полукругом, с серебряными кистями по бокам, — один такой кивер казался мне царем головных уборов.

Я потихоньку подыскивал героев. Соблазнов открывалось немало. Множество ярких характеров населяло то время. Пламенные, романтические, по-русски разудалые. Бесшабашные гуляки-дуэлисты и утонченные, образованные на демократический лад офицеры. Оригиналы из Английского клуба и задиристые поэты. Смекалистые крестьяне и бродяги-философы. Студенты Московского университета и сироты из Воспитательного дома. Живые и наивные создания из патриархальных семей вроде толстовской Наташи и крепостные актрисы, как прекрасная и таинственная Параша Жемчугова.

Меня заинтересовал один человек. Может быть, потому, что вокруг его имени складывалось несколько совпадений, но в то же время толком не было ничего известно, наоборот, намечалась путаница.

В те годы писалось множество стихов. Они ходили по рукам, читались на биваках, распевались. Вся армия знала наизусть гусарские куплеты Дениса Давыдова вроде таких:

Станем, братцы, вечно жить  
Вкруг огней под шалашами,  
Днем — рубиться молодцами,  
Вечерком — горелку пить!

Понятие «гусарства» в смысле лихого и бесшабашного времяпрепровождения пошло именно с тех времен.

Одна из папок в доме Артюшина хранила листки и тетради с безымянными стихами и посланиями вроде давыдовских. В посвящении одной гусарской компании я встретил такое четверостишие:

Там Берестов, задумчивый гусар,  
На биваках приятельствовал с нами,  
И на лице мешался думы жар,  
И жар костра, и пунша яркий пламень.

Я почему-то все ясно представил. Трепет желтого огня, шум и песни около костра, а чуть поодаль, опершись на локоть, полулежит молчаливый гусар. На лице, освещенном снизу, мечутся блики костра, в пристальном взгляде раздумье и тайна.

«Задумчивый гусар» — это мне приглянулось. Гусаров называли рубаками, удалцами, забияками, кем угодно, но «задумчивых» я не встречал.

Еще трижды попадалась мне фамилия Берестова.

В наградных документах Бородинского боя поручик Берестов упоминается два раза. Сначала в списке отличившихся офицеров третьего пехотного корпуса. Сообщалось, что «поручик Берестов, выполняя особое поручение командующего, проявил великолепную храбрость. Участвовал в атаке Ревельского и Муромского полков, получил контузию, но остался в строю, за что представляется к награде Владимиром 4-го класса». Справа от записи стоял вопрос.

Вопросы появились и у меня. Что за особое поручение командующего? Ведь, кроме Кутузова, которого во всех случаях именовали главнокомандующим, командующими можно было назвать кого угодно, от Багратиона и Барклая де Толли до командиров полков и дивизий.

Почему также не сказано, в каком полку служил поручик Берестов? Это всегда отмечалось в наградных документах.

Второй раз, и снова как «выполняющий особое поручение командующего», поручик Берестов встречается в списках отличившихся офицеров 24-й пехотной дивизии. Здесь он «немало способствовал славной атаке 3-го батальона Томского полка, увлекая солдат до самого получения раны», за что был представлен к награде «золотой шпагой за храбрость и очередным чином». И в этой записи стоял вопрос, а кроме того, она была перечеркнута пожелтевшими штрихами пера.

Кто ставил вопросы, кто зачеркивал фамилию Берестова и почему? В чем заключалось «особое поручение»? Не может ли оказаться, что «задумчивый гусар» и его однофамилец таинственный поручик Берестов одно и то же лицо? Тогда почему гусар в списках пехоты?



В третий раз поспешно написанную фамилию Берестова я видел под карандашным рисунком какого-то боя. «Ал. Берестов» — так было подписано. Карандаш почти уже стерся, бумага померкла. Наверное, это был старый рисунок. Артюшин уверял, что он сделан на Бородинском поле прямо во время боя.

— Смотрите, какая поспешность в линиях, а кроме того, точная топография. Ведь это атака на батарею Раевского! Рисунок даже не закончен...

Вглядываясь в слабые штрихи, я думал о том, что Томский пехотный полк, в атаке которого участвовал поручик Берестов, стоял как раз позади кургана Раевского.

И все-таки я мало верил Артюшину. Неужто в таком жарком месте, как батарея Раевского, где каждая струнка пространства была перебита ядром или картечью, кто-то рисовал с натуры да еще не забыл подписаться?

Но троеликий Берестов — гусар, художник и офицер с таинственным поручением — все больше занимал мое воображение. Конечно, это могли быть однофамильцы или родственники. В то время служили в армии целыми семьями. Давыдовых, например, кроме Дениса, воевало по меньшей мере еще трое.

Но что-то заставляло меня искать образ одного Берестова. Я стал придумывать его жизнь, я пытался уложить в нее неясные и противоречивые сведения. И это меня увлекло, потому что фигура выходила необычная.

Теперь и путаница в наградных документах, и недомолвки, и отсутствие других упоминаний — а я просмотрел много материалов, вплоть до биографических справочников по армии — все было на руку. Неопределенности оставалось ровно столько, чтобы мое воображение смогло принять участие в этой загадочной для меня судьбе.

### 3

Для повести я выбрал пять дней. 22 августа русские нашли позицию у Бородино, а 26-го состоялось сражение. За несколько бородинских дней я хотел развернуть сюжет, а кроме того, показать схватку за Шевардинский редут, она случилась накануне главного боя.

Самой битве я отводил главное место. Она представлялась

мне огромной грохочущей панорамой, где решались и судьбы двух армий, и тысячи человеческих судеб.

Прочел я в библиотеке достаточно много. Пора было приниматься за первую главу. Осталось само Бородинское поле.

Я с нетерпением ждал сентября, чтобы в те дни, какие отвел для книги, приехать в Бородино и остаться наедине с полем. Пройти его вдоль и поперек, узнать его запахи, краски. Спать на его траве, как спали солдаты, смотреть в его небо. Слушать шелест его ветерка, посвист его птиц. Зрительно, осязательно, чувственно хотел я постичь сокровенную тайну Бородинского поля и надеялся, что оно откроет мне такое, о чем не пишут книги.

Третьего сентября, 21 августа по-старому, я уложил рюкзак и поехал в Бородино. В полдень я был на месте. Теплый и ясный день стоял в Бородинском поле. Пока ничто не означало осени, но иногда в попавшей на просвет листве вспыхивала та самая печальная ясность, которая предвещает и увядание и холод.

Я шел и думал: где ты, мой Берестов? В каком бою сложил голову? Где искала твою могилу любимая? А может, прах твой до сих пор таится под бородинскими холмами? И был ты таким, как придумал я, или вовсе иным?

Почему я взялся за эту книгу? Что я хотел рассказать, какие чувства выразить? Я и сам не знал толком. Это было как дальний зов, смутный, но властный, и звук его нарастал.

Я шел через поле, и теперь мне не мешали перелески и новые дороги. Внутренним зрением я видел его целиком. Вместе с ужасным ударом пушек в голове вспыхивала ослепительная панорама боя.

Сначала я решил пройти поле наискось до памятника Кутузову в Горках, а оттуда вернуться по всему фронту к Семёновской и выбрать место для ночлега. Шагать было легко, кроме спального мешка и бутербродов, в рюкзаке ничего не было.

В Бородино много памятников. Черного, серого, красного гранита. Круглые колонны, треугольные стелы, просто гранитные глыбы. Я подходил к каждому и читал надписи.

На кургане Раевского я посидел у могилы Багратиона и только теперь обратил внимание, что здесь нет памятника защитникам батареи.

Я вытащил записную книжку и нашел, что на кургане сражались дивизии Паскевича и Лихачева. Правда, памятник полкам Лихачева я видел где-то позади кургана, хотя дивизи-

зия и ее генерал легли именно здесь. Но почему нет памятника 26-й дивизии? Ведь это она начала оборону кургана.

Я нарвал жесткой полевой травы и стал выкладывать из нее начальные буквы полков, о которых почему-то никто не вспомнил. Их было пять: пехотные Полтавский, Орловский, Ладожский, Нижегородский и один Егерский. Совсем неожиданно у меня получилось ПОЛЕ. Правда, оставалось еще «Н» от Нижегородского пехотного, я выложил его чуть в стороне.

Я ушел с батареи Раевского, думая о своем маленьком памятнике солдатам, о невзначай получившемся слове.

Вдруг меня остановила внезапная мысль: «Н», буква «Н», которая осталась одна! Я вернулся на батарею и положил рядом с «Н» бледно-желтый полевой цветок. «Н» — Наташа! Еще один памятник, вышедший ненароком. Памятник нашей последней встрече. Мне даже вспоминалось теперь, что мы расстались как раз на том месте, где я складывал буквы из жесткой бородинской травы.

На Багратионовых флешах, позади Спасо-Бородинского монастыря, я нашел место для ночлега.

В другое время достаточно было бы одной спокойной красоты этих русских пригорков, просторных полян, полукружий невысокого леса и разбросанных там и тут беседок из двух или трех деревьев. Но гранитные монументы, такие спокойные и задумчивые, как сама природа, артиллерийские брустверы, ставшие ложбинками зеленого поля, лишали пейзаж сиюминутности, уводили вглубь, и оттого деревья, даже простая трава, казались полными глубокого значения.

Позади левой fleши вплотную к небольшому лесу стояла высокая продолговатая копна сена. Там я и решил разложить спальный мешок и устроиться на ночь.

А пока присел на розовую гранитную тумбу у памятника сумским и мариупольским гусарам и стал разглядывать стройный контур Спасо-Бородинского собора.

В музее я видел набросок плана Бородинского боя. На плане рукой генерала Ермолова сделана карандашная помета: так он показал Маргарите Тучковой место гибели ее мужа. Сначала вдова поставила здесь часовню, а в 1839 году вместе с другими основала женский монастырь, в котором стала первой настоятельницей.

Раскачивая портфелем, мимо шла крошечная школьница с большим белым бантом. Около меня она остановилась и посмотрела с любопытством.

— А здесь сидеть нельзя,— сказала она.— Нам в школе говорили.

— Почему же?

— Потому что камень священный!

— Согласен,— сказал я и переселился с тумбы на траву.

— А что вы здесь делаете?

— Смотрю Бородинское поле.

— Только, пожалуйста, не бросайте окурки и консервные банки,— важно сказала девочка.

— А как ты думаешь,— спросил я,— что такое священный камень?

— Священный?..— Она задумалась.— Ну, это который всегда освещен... солнцем...

— А как же ночью?

— А ночью луной и звездами,— нашла она.

Я улыбнулся. Девочка перешагнула чугунную цепь, вытащила из портфеля косынку и несколько раз обмахнула ею розовый гранит монумента.

— Только, пожалуйста,— еще раз и очень важно напомнила она,— не пачкайте памятников. Им еще долго стоять.

Потом она ушла, напевая, подпрыгивая, и несколько раз оглянулась на меня с грациозным, по-детски кокетливым наклоном головы.

До вечера я бродил по флешам и вдоль Семеновского оврага. Сбоку от монастыря стоял крепкий каменный дом. Он пустовал, кое-где были выбиты стекла. В этом доме, бывшей гостинице монастыря, Толстой работал над «Войной и миром» во время поездки на Бородинское поле.

Уже порядком стемнело, когда я вернулся к стогу сена, где хотел ночевать. Я вытащил спальный мешок, устроил нишу в основании стога и скоро уютно лежал среди крепкого пахучего настоя, острых покаываний палочек сена и мыслей о будущей книге, о Берестове, о Наташе.

Немного стало знобить. Я забрался в спальный мешок, отодвинул нависший пласт сена и стал смотреть на звезды. Они светили уже в полную силу, одни четким холодным сиянием, другие желтоватым неярким подрагиванием.

Я думал о том, что многие из бородинцев, оставивших воспоминания, писали о звездах. Вот так лежали они в ночь перед битвой с глазами, устремленными на небесную россыпь. Каждый искал свою звезду и разговаривал с ней. Спрашивал, так ли он прожил жизнь и что ждет его завтра.

Смотрел на звезды и мой Берестов. Какую он выбрал? Быть может, там в небе еще странствует его взгляд, уносящий все дальше световыми годами? Может быть, смотрит сейчас в небо и Наташа. Тогда на какую звезду?

Меня знобило все больше. Неужели простудился? Я попробовал заснуть. Но звезды, звезды не давали покоя... Они висели, как тысячи ярких сосудов, вобравших в себя чьи-то взгляды, надежды, признания. Я сжался в своем мешке, навалил на себя сена.

Началась полудрема, но и сквозь нее я чувствовал дрожь, не покидавшую тело. Обрывки сновидений проносились в голове, какие-то образы, вскрики. В подсознании билась мысль, что я заболел. Надо проснуться, куда-то идти, избавиться от кошмаров. Я поворачивался с боку на бок, но бред разрастался.

В последний момент этого горячего полусна мне удалось открыть глаза, и помню только, что сияние звезд поразило, ослепило меня. Они полыхнули, как огромные зеркала, заполнив все небо нестерпимым блеском.

На этой вспышке дрожь моя кончилась, сновидения пропали. Я закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Он снизошел на меня бездонным забытием, какого я никогда не испытывал...

Сначала издалека, потом все ближе и ближе, но еще помимо моего сознания в этом покое стали раздаваться настоячивые слова:

— Берестов... Берестов... Проснитесь, поручик Берестов.

## А

— Проснитесь! Вы Берестов? Проснитесь, поручик...

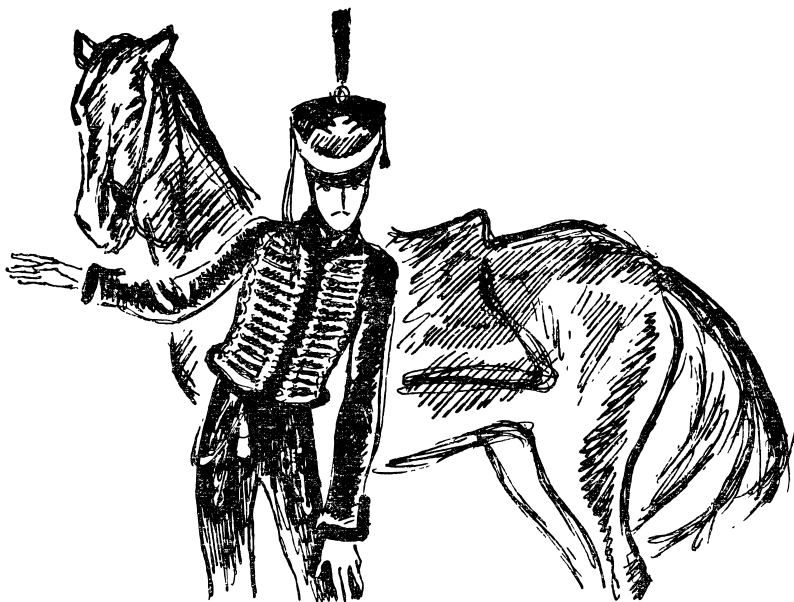
Кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза.

Надо мной наклонилась темная фигура с огромной вытянутой головой. Это сон, я закрыл глаза.

— Да проснитесь, поручик! Вас в штаб зовут!

Я снова открыл глаза. Сумеречно. Наверное, светает. Фигура отошла со вздохом. Я присмотрелся... И то, что принял за огромную странную голову, оказалось юным лицом, а над ним... Кивер двенадцатого года! Кивер!

— Так вы Берестов или нет? Целый час вас ищу. Закопа-



лись в сене, вот, право. А у меня еще несколько дел. Вас в штаб зовут. Вы Берестов?

Я приподнялся, вывалился из копны и сказал:

— Ну, положим, я Берестов,— и сам не удивился тому, что сказал.

Голос мой прозвучал необычно, хрипловато. Какая-то особенная острота воздуха ударила в голову. Я огляделся.

— Тогда вас в штаб, к полковнику Кайсарову. Я вестовой.

Юноша в кивере смотрел на меня с любопытством. Что-то в моем сознании как бы мешало проснуться, хотя я уже знал, что это не сон. Что-то удерживало от изумления, от расспросов. Я только встал и потянулся в тесной, явно не моей одежде.

— Почему вы решили, что я Берестов?

— Так вон ваша белая лошадь стоит. Мне так и сказали: у вас белая лошадь. А потом ваш мундир, такие уже не носят. Так вас в штаб, в деревню Бородино. Как церковь проедете, так в первой избе направо. Ну, я, пожалуй, поеду. До свидания, поручик.



Он подошел к лошади, неловко взвалился и ударил в бока. Короткий вскрик, роса брызнула из-под копыт, и всадник ускорился.

Я снова осмотрелся. Знакомое и незнакомое место. Стог сена, в котором я ночевал, вот он. Но ближнего леса нет. Нет и монастыря, на месте его далеко вперед дымчатый утренний простор с неясным контуром леса на горизонте. Свежо. Воздух остр, новый воздух. Что-то новое и во мне. Нет мысли, что это недоразумение, сон, наваждение, чья-то шутка. Голова спокойна, и что-то по-прежнему мешает удивиться, не поверить.

Из-за стога медленно вышла белая лошадь, она щипала траву. Моя лошадь? Лошадь поручика Берестова? Я подошел. Она подняла голову, тихо заржала. Свой.

Я вдел ногу в стремя и прыгнул в седло. Как только я попал в его гладкий блестящий изгиб, ощущение тесноты одежды пропало. Наоборот, какая-то легкая сила почудилась в теле.

Я приподнялся в седле и оглядел огромную холмистую равнину. Бородинское поле, это оно! Пахнул в грудь свежий ветер. За моей спиной розовый юный жар начинал охватывать небо. Я засмеялся.

— Да, я поручик Берестов! — громко сказал я и ударил каблуками коня.

Он мягко сорвался с места, понес галопом по лугу. Я бросил поводья и понял с восторгом, что умею вот так небрежно на полном скаку красоваться в седле.

— Эгей! — крикнул я. — Берестов!

Конь вынес меня на дорогу. Впереди потянулись серые избы деревни. Семеновская? Наверное. Вот поворот налево. Тут я остановился.

По улице шла колонна. Дробно сияли штыки. Против огненного восхода они походили на заросли розово-красной травы.

Сердце мое стучало. Полки! Русские двенадцатого года! Я Берестов, я поручик Берестов!

Солдаты шли, весело переговариваясь. Улица не пылила под утренней росой. Егеря! Я сразу узнал их по светло-зеленым мундирам, черным крест-накрест ремням и киверам без султанов.

— Его благородие на белом коне, как Егорий!

— Эхма! Отшелушим мусье, сами в Егориях будем!

Они обращались на меня оживленными усатыми лицами. Мерный топот сапог, бряцание оружия.

Мимо рысцой проезжал офицер на пегом коне. Он обернулся ко мне, придержал лошадь:

— Вы какого полка? Я ишу...— Он внимательно посмотрел на меня, осекся и, не договорив, ускакал.

Я повернул за ним, стремительно миновал егерей, серые избы Семеновской и съехал налево в овраг. Тут я спешился, расстегнул мундир, стащил его и внимательно рассмотрел.

Жесткое сукно зеленоватого тона вытерто. Пуговицы памятные, с орлами, теперь уж не разберешь, золотые были или серебряные. Воротник желтый и низковатый для тех, которые носили в двенадцатом году. Обшлага желтые тоже, а я хорошо знал, что отвороты у русской армии в то время были красные. Ясно, что старый мундир. Но какого полка? Скорее всего, пехотного.

На плечах погоны из поблекшей серебряной нити. Тоже старые, в двенадцатом году носили эполеты.

А что на голове? Оказывается, темно-зеленый колпак с белыми кантами и кистью, такие тоже давно не носят.

Да, уж наверное, вид мой был странным. Недаром шархнулся офицер, а молоденький вестовой разглядывал с любопытством.

Может быть, это мундир какой-то неизвестной мне службы, интендантской или инженерной? Да вряд ли. Скорее всего, случайная одежда. Рейтузы, например, из серого сукна, кавалерийские.

К черному немецкому седлу приторочен сзади круглый чемодан из плотной материи, он похож на скатанное одеяло. Спереди пристегнута кожаная сумка.

Я расстегнул чемодан. Много ли у меня имущества? Две белые сорочки, сверток мягкой кожи, наверное на сапоги. Суровые нитки и большая игла. Флакон с кельнской водой. Белые лайковые перчатки и фуражка защитного цвета с темно-зеленым околышем и черным лакированным козырьком.

Фуражку я сразу надел вместо колпака. На самом дне лежало бритвенное лезвие с перламутровой ручкой и зеркало. Я стал разглядывать свое лицо. Да, это я, безусловно. Только моложе, может быть двадцати с небольшим, и с усами.

В кожаной сумке оказались два пистолета, деревянная фляжка, обтянутая сукном, и нож в плетеном чехле, с наборной



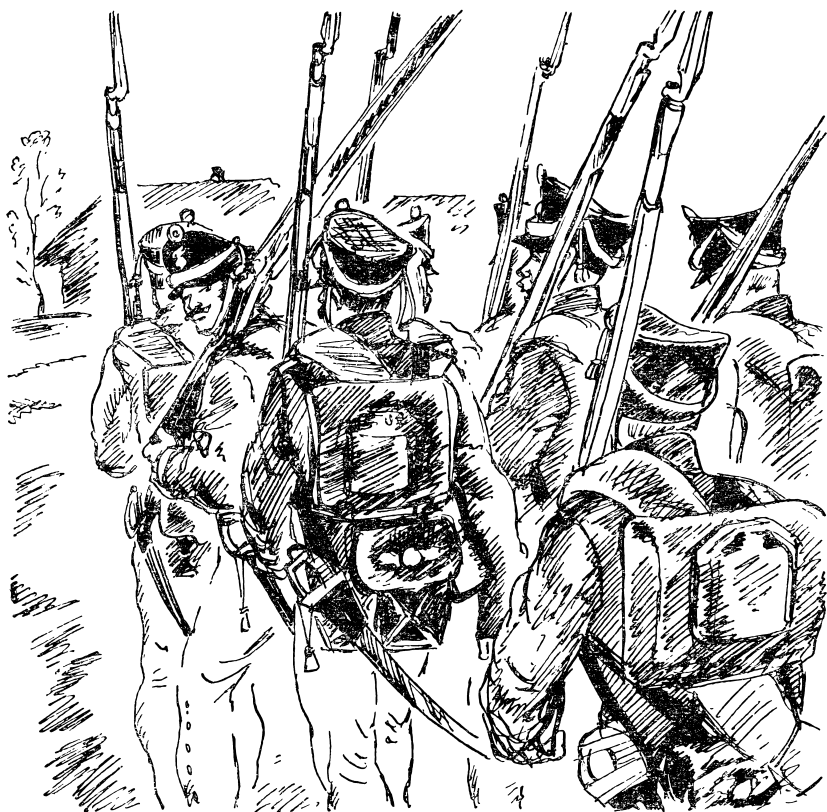
ручкой. Пистолеты с тонкими дулами и затейливой вязью узора явно восточного происхождения. Тут же лядунка — кавалерийский патронташ на двадцать зарядов.

Больше ничего. Ни денег, ни бумаг. Хозяйство небогатое. Поручик Берестов, видно, попал в какую-то историю.

Кобыла, правда, замечательная. Я сел в седло, потрепал ее по шее, попробовал размышлять. Но что-то опять мешало. Ясно одно: я поручик Берестов. Я здесь, в Бородино двенадцатого года — какого же еще? — и это не мираж.

Меня вызывают в штаб. Наверное, там многое прояснится.

Я пустил кобылу по мягкой грунтовой дороге. Пожалуй, она проходила там же, где асфальтовая, по которой еще вчера я шел от кургана Раевского. Только по бокам нет деревьев и даже кустов.



Огромный простор раскинулся по обе стороны. А вон и курган, за ним бородинская церковь. Какое сегодня число? Не то ли самое, которым должен был проснуться после ночлега в стogu?

Ветхий мост через Колочу перенес меня к бородинской околице. Такие же серые избы, как в Семеновской. Маленькие окна, крыши высокие, соломенные, похожие на тусклого серебра папки.

За церковью в середине деревни оживление. На травяной зелени улицы рядом с темными срубами изб особенно ярко маячат разноцветные пятна военных мундиров. Мелькают белые рейтузы, красные эполеты, черные султаны и золотые кокарды. Сгрудились оседланные лошади, повозки. Вдали за околицей показалась еще колонна.

Низкое утреннее солнце подкрашивало землю пологим оранжевым светом.

Я слез с седла. Штаб разместился в нескольких избах.туда и сюда сновали люди. Высокий солдат в белом кирасирском колете держал под уздцы лошадь и глядел на приближающийся полк. Я подвел лошадь к нему:

— Эй, братец, полковник Кайсаров в какой избе?

Он вытянулся сначала, а потом, заметив мой никудышный вид, расслабился и небрежно показал избу.

— Из ремонту, что ли, вашбродие? — Он принял меня за тыловика.

— Какой сегодня день? — спросил я, не отвечая.

— Четверток! Денек перевальный, вашбродие!

— А число?

— Двадцать второе! — Он подмигнул: — Что, вашбродь, сивалдай крепкий попался?

— На-ка лучше, держи. — Я бросил ему поводья и пошел в избу.

— Не положено нам чужих! — крикнул он за спиной. — Мы кирасирский его величества! Ходят тут разные...

У него было растерянное и недовольное лицо, но повод он все-таки держал.

Я прошел темные сени. Под низким потолком за деревянным столом сидел офицер с гусиным пером.

— К полковнику Кайсарову, — сказал я.

— Кайсаров еще на марше, — не поднимая головы, ответил офицер. Я разглядел седые бакенбарды, расстегнутый воротник и штаб-офицерские эполеты с густой бахромой.

— Я поручик Берестов. Меня вызывали к полковнику Кайсарову.

— А, Берестов... — Майор поднял голову. — Это я вас требовал от имени дежурного. Майор Сухоцкий... Послушайте, Берестов, я с вами замучился. Мне то одни, то другие велят с вами разбираться. Кто вы такой, наконец, какого полка? Когда вы представите бумаги?

— Бумаги... — сказал я. — Бумаги я представлю в свое время.

— Да что за черт, батенька! — Офицер вскочил. — Какое такое свое время? А может, вы французский шпион? Вас даже знать никто толком не знает, во всяком случае, поручиться не может. Вы ссылаетесь на генерала Кульнева, так он погиб, месяц, как погиб на Дриссе! Вся канцелярия его досталась



французам, где ж мне искать ваши послужные? Вами давно генерал-полицмейстер интересуется.

Вошел запыленный офицер и приложил два пальца к треуголке...

— От генерала Лаврова. Где дислоцировать пятый корпус?

— Это не у меня,— ответил Сухоцкий.— Квартиргеров принимает полковник Нейдгард, в соседней избе.

Офицер вышел. Сухоцкий снова обратился ко мне:

— Но это ладно. А теперь я получаю приказ слать вас в Москву курьером. Как это понимать? Может, вы объясните, поручик? Я вас не знаю, вы одеты бог знает как, и вдруг посылать курьером? Ермоловым подписано. Что за пель-мель, прости господи? Впрочем, моя служба маленькая. Вот депеша.

Он протянул большой синий пакет с сургучами.

— В Москве генерал-губернатору Ростопчину. Поедете новой дорогой через Можайск, Шелковну, Кубинское и Перхушково. С вами один офицер. Держитесь к нему поближе, он и



Москву знает да и вас в обиду не даст. Как-никак время военное, а вы без бумаг.

— Листов! — крикнул он.

Вошел офицер в форме гусара. Он посмотрел на меня и представился:

— Ротмистр Листов.

— Поручик Берестов.

— Вот подорожная, — сказал Сухоцкий. — Вы, Берестов, как-нибудь промышляйте насчет рекомендаций. Понравьтесь Ростопчину, он за вас слово скажет. Тогда в полк запишем. А так, ей-богу, лучше не появляйтесь, в сражение не пушу. А вы, Листов, поскорей возвращайтесь, бой на носу. С богом, господа.

Мы вышли, и тут я разглядел Листова.

Коричневый, в желтых шнурах доломан, кивер набекрень, синие гусарские чакчиры, ташка с вензелями, ментик на плече и сабля на длинной перевязи — все как-то особенно ловко очерчивало его невысокую стройную фигуру. Золоченый ремень кивера схвачен на подбородке. Лицо узкое, с тонкими сжатыми губами. Из-под светлых бровей внимательный взгляд серых глаз.

— Я позабочусь о лошадях, а вы ждите здесь, поручик. — Он сделал шаг и добавил: — Кажется, мы и раньше встречались?

## 5

Я взял свою лошадь у кирасира, отошел на другую сторону улицы и сел у плетня. Мимо с визгом колес, гиканьем ездовых и лошадиным храпом прошла батарея. Пушки катились смешно, вперевалку, тыкаясь жерлом в землю, словно принялись.

Я задумался. Двадцать второе августа. Через четыре дня Бородинский бой. Судьба посылала его не книжной картинкой, а явью. Но вдруг задержусь в Москве и опоздаю к сражению? Вдруг здесь вообще ошибка, нелепица, я вовсе не тот Берестов, о котором так много думал, и жизнь обернется серой историей тыловика?

Откуда меня знает Листов?

Подкатила зеленая тележка, оттуда выпрыгнул мой по-

путчик. Теперь на нем вместо кивера дорожная фуражка с желтым околышем.

— Лошадь вам здесь придется оставить: дальний путь. Я прикажу кормить ее вместе с моим Арапом.— Он потрепал коня по морде: — Ну, как поживаешь, Белка?

Так я узнал имя своей кобылы.

Через полчаса мы катили по дороге, сжатой с обеих сторон еще свежезеленым лесом. Листов держал вожжи. Он долго молчал, потом сказал:

— Вы заметили, что мы едем не по новой, а по старой Смоленской дороге?

— Нет, не заметил,— ответил я.

— Впрочем, мы будем в Москве не позже, а может, скорей. Эта дорога прямее, хоть и тряски больше. Почтовых станций здесь нет, но лошадей мы найдем, это я вам обещаю... Так отчего не спросите, почему едем не той дорогой?

— Вероятно, так удобнее?

— Вы не педант, поручик. Другой бы на вашем месте ни на шаг от желтой книги. В конце концов, вы курьер, не я, а даже не спросите, почему мы без возницы.

Я пожал плечами.

— Так я вам открою секрет. Майор Сухоцкий прямо просил меня приглядывать за вами. Вас это не смущает?

Я снова пожал плечами.

— Не подумайте, что я и вправду собираюсь выполнять его не слишком деликатное поручение. Просто так вышло. У меня дело в Москве. Я отпросился у полкового, обогнал колонну, а в штаб заехал по делу. Вот тут Сухоцкий и подсунул мне вас. Я только потому согласился, что немного вас знаю.

Он посмотрел на меня с улыбкой.

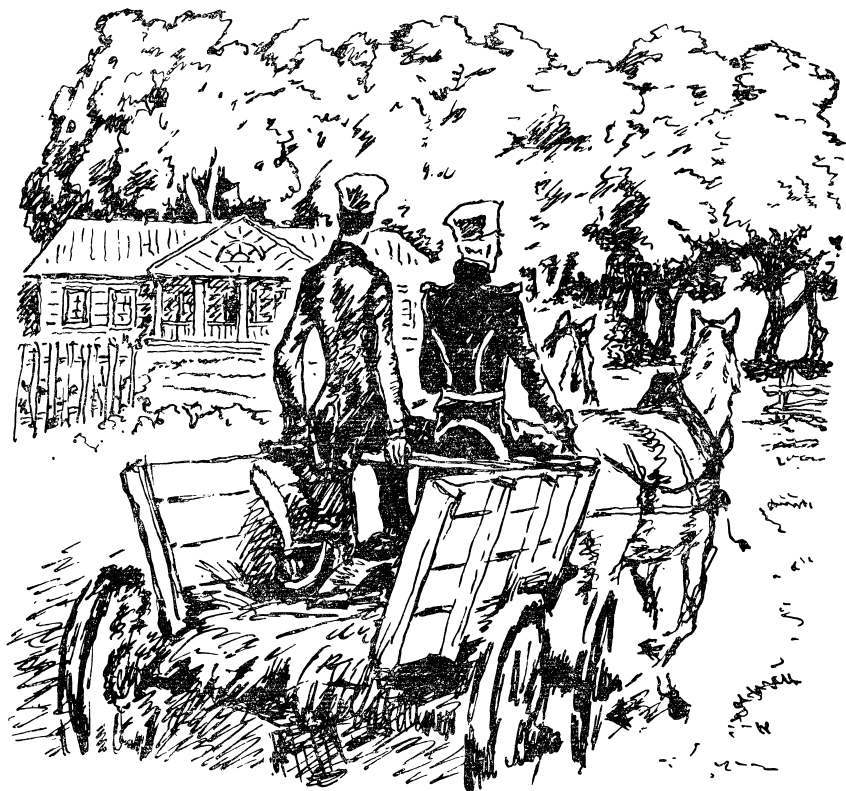
— Вам подорожную надо бы отмечать на каждой почтовой... Впрочем, это пустяк, время военное, сейчас не до подорожных.

Некоторое время мы ехали молча.

— Так я вам скажу, почему мы здесь едем,— сказал Листов.— Верст через тридцать будет деревня. Там меня ждут. Дело это личное, и мне не хотелось бы, чтоб о нем особенно говорили. Вы понимаете?

— Разумеется.

Мы замолчали. По-прежнему справа и слева тянулся лес. На колдобинах сильно встряхивало, а иногда катило мягче,



чем по асфальту. Обильный густой запах зелени стоял над старой Смоленской дорогой.

Я думал о том, что русская речь, которую услышал в это утро, отличается от привычной. Слова падают медленней, как бы нерасторопно, и оттого она кажется плавной и более мелодичной.

Мы ехали почти молча. Только изредка перекидывались короткими фразами. Лошади бежали легкой рысцой, потряхивая гривами и фыркая. Лес тянулся почти непрерывно. Иногда открывались большие поляны полукругом по обе стороны, а на них крестьянские избы, заборы, срубы колодцев.

На развилке с болотом и засохшим кустарником мы повернули, проехали пустынную деревушку, зеленый пруд с те-

нистыми ветлами и оказались за воротами небольшой усадьбы.

В глубине двора стоял белый дом. Четыре облупленных колонны держали осевший портик, крыльцо покосилось. Листов вышел из тележки, на его лице появилось напряженное выражение.

— Это мой дом,— сказал он и пошел к дверям.

Я стал разминать ноги. Листов появился снова.

— Никого нет.— Он сел на крыльцо и нахмурился.

Что-то напевая, в ворота вошла девочка в красном платье, с плетеной корзиной в руках. Она увидела нас и застыла как вкопанная. Светлые прядки, хрустальные на просвет от вечернего солнца, светились вокруг ее лица.

— Иди-ка сюда.— Листов встал.— Как тебя зовут?

— Дашка.

— Ты чья?

— Тутошняя я,— пролепетала Дашка.

— Листовых?

— Ага.

— Меня знаешь? Я тоже Листов.

Дашка шмыгнула носом.

— Куда же все подевались? — спросил Листов.

— А уехали.

— Давно?

— Вчерась.

— А в деревне?

— Никого нету. Наш тятка на войну пошел, мы только с мамкой и Киришкой.

— Так,— сказал Листов и снова сел на крыльцо.— Этого я боялся. Уехали... На лошадей-то я здесь рассчитывал.— Он махнул рукой: — Делать нечего. Пусть наши передохнут, зададим им корма, а к ночи будем в Москве.

Дашка смотрела на нас с любопытством.

Мы пошли в дом. Вся обстановка у Листовых осталась на месте. В гостиной, оклеенной темно-синими тисненными обоями, стояли темного дерева шкафы, кресла, ломберные столики. На стенах висели портреты.

— Это отец,— Листов показал на усатого генерала с андреевской лентой через плечо.

Отец Листова воевал вместе с Суворовым, а погиб на турецкой войне под Рушуком. После его смерти Листовы разорились, оказалось слишком много долгов. Мать Листова жила в бедном имении с несколькими дворовыми. Две недели назад

Листов получил от нее письмо. Там говорилось, что соседние деревни пустеют, все боятся французов. Она же никак не может собраться. Да и надо ли уезжать? Может, отобьют французов?

— Нечего сказать, защитили русскую землю,— мрачно сказал Листов.

Мы растопили печь, Дашка начистила нам картошки, и скоро мы сели за стол, чтобы перекусить на дорогу. Но тут за окном стремительно потемнело и ветер нажал на стекла.

— Только бы не дождь,— сказал Листов.

Но это был дождь, и какой! Сначала косыми теньями метался за окнами ливень, потом ровное сито воды зарядило до самой темноты. Ехать было невыносимо, дорогу, конечно же, развезло.

— Не вышла у нас поездка, поручик,— сказал Листов.— Ни ваше курьерство, ни мои дела. Ладно, перестанет дождь, не перестанет, к утру поедем хоть верхами. Пусть лошади сил набираются. Раньше утра вам до Ростопчина все равно не добраться.

Вечером Дашка убежала домой. Листов нашел ей старых пряников, а в кладовой банку варенья.

— Как думаете, Берестов,— спросил он меня,— дойдут сюда французы?

— Это сражение решит,— ответил я.

— А многих из нас тогда уже не будет,— сказал он.

Часы заиграли знакомую мелодию, а потом стали бить полночь. В неровном свете огарка мы пили чай.

— Вы что-нибудь слышали о моей истории? — спросил Листов.

— Как будто бы нет,— ответил я.

— Не слышали, так услышите.— Листов встал и подошел к окну.— Я не знаю ни одного мелкого события из жизни офицера, о котором так и эдак не переврали бы на балах, вечеринках и биваках. Есть знатоки, которые даже в атаке, из седла успевают пересказать друг другу сплетни.

Он помолчал.

— Я чувствую к вам доверие, Берестов... Возможно, потому, что мы вместе переходили Ботнический залив. Помните, какие жестокие были дни? Сколько обмороженных. Вы у Кульнева в авангарде шли? А я с Тучковым. Между прочим, офицер, который вам Белку продал, моим приятелем был. Он мне о вас рассказывал. Жалко его, убит под Гриссельгамом.

Помедлив, он спросил:

— Вы, кажется, потом за границей были? По крайней мере, так говорили.

— Я вижу, в армии действительно обо всем говорят,— сказал я уклончиво.

— Во всяком случае, обо мне достаточно. И странно, что вы еще не слыхали, хотя, по сути, никого, кроме меня и еще двух лиц, это не касается... Вы помните, я говорил, что меня здесь ждут?

— Ваша матушка?

— И матушка. Но с матушкой какие секреты... Ее как раз я собирался с обозом отправить под Ярославль или в Пензу, к родственникам. Девушка меня тут ожидала, невеста. Я, знаете ли, Берестов, решил с ней в Москве повенчаться. Для того и рвался из армии.

— В этом состоит дело, о котором вы просили не упоминать?

— Да, в этом. Только если до вас действительно не дошли армейские сплетни, то и объяснять мне нечего. Просто женьюсь, и все.

Больше он не рассказывал, а я расспрашивать не стал.

Я вышел на крыльцо. Меня охватили темнота и горьковатый запах мокрого сада. Шумела листва, слышался шлепот дождя, и ветки постукивали по крыше.

За мной вышел Листов.

— Поручик,— сказал он,— вы, наверное, чувствуете, что я все время недоговариваю...

— Нет, почему же,— возразил я.

— А все оттого... Вы знаете, так получилось, что меня с вами не только Финский поход связывает. Как-то нелепо... даже объяснить это трудно...

— Если трудно, то не спешите с объяснением,— сказал я.

## 6

Мы подъезжали к Москве со стороны Калужской заставы. Так предложил Листов.

— На Дорогомиловской всегда толпы народа,— сказал он,— ждут известий из армии. Особенно нувеллисты.

— Нувеллисты?

— Amateurs de nouvelles — любители новостей. Не слышали такого словечка? В Москве их целая компания. С некоторыми я знаком, но сейчас хочу проехать незамеченным.

— Вам-то, быть может, уже и не надо в Москву,— сказал я.

— Нет, отчего же, надо,— ответил Листов.— У нас есть домишко на Пречистенке. За ним Никодимыч присматривает, старый солдат, с отцом прошел все войны. Быть может, он что-нибудь знает. Чует мое сердце, она в Москве. Пока вы будете у генерал-губернатора, я попытаюсь что-нибудь выяснить. После визита возвращайтесь ко мне, вместе поедem в армию.

Мы двигались враскачку по блестящей от грязи, но местами подсохшей дороге. Стоял утренний туман, казалось бы, легкий, но бесследно растворявший кусты и деревья в пятидесяти шагах.

— Бывали в Москве? — спросил Листов.

— Давно.

— Это Воробьевы горы. Давайте остановимся.

Мы вышли из коляски и через мокрые кусты пробрались на открытое место.

Передо мной открывался огромный неясный простор. Там, внизу, туман становился реже, и можно было разглядеть матовый изгиб Москвы-реки, за ним рощи, холмы слева и справа, а дальше на ровном пласте тумана короткие вспышки блеклого золота и смутные очертания соборов.

— Слушайте,— сказал Листов.— Я вспоминаю... Вы знаете, какой сегодня день? Двадцать третье! Ведь двести лет назад в этот день Москва прогнала поляков. А гетман Ходкевич со своими шляхтичами примерно в эти часы смотрел на Москву отсюда же, с Воробьевых гор. Я не путаю? Какой день!

Листов оживился, но когда мы подъехали к заставе, снова задумался.

— Достается Москве...— сказал он.— Похоже, и на этот раз впустим неприятеля.

Калужская застава представляла пустое, заросшее молодыми березами место. У дороги небольшой домик с распахнутой дверью, две рогатки на кривых колесах по обочинам.

Сначала выглянул солдат в зеленом мундире. За ним, подавляя зевоту, вышел человек в желтом халате и колпаке. Небритое лицо, клочьями бакенбарды. Он почесал грудь, запахнул халат.



— Куда путь держите, господа? Не из армии?  
— Какие здесь новости? — не отвечая, спросил Листов.  
— Бегут,— сказал «халат».— Правда, меня не так беспокоят. А через Преображенку и Семеновскую, почитай, полтыщи возов выезжает за день. Как записать-то вас, господа?  
— Братья Славянские.

Когда мы отъехали, я спросил:

— Почему вы назвались такой фамилией?  
— А так, больше по привычке. На этой заставе никто спокон веку своим именем не назывался. Вот вам Русь-матушка. Военное время, болтовня о шпионах. На Дорогомиловской заставе целый взвод гарнизонных, иначе как через плац-адъютанта в Москву вас не впустят. А тут отставной прапорщик в халате, два инвалида и сплошное ротозейство.

Мы ехали по городу, вернее, деревне, только местами напоминавшей город. Сначала шли пустыри, потом глухие заборы, из-за которых вываливалась зелень садов. Иногда открывались белые, желтоватые или розовые, по большей части облупленные стены соборов или особняков. Но чаще нештукатуренные дома и серые избы то тесным рядом, то вразброс поодиночке рисовали разновысокий, неровный профиль улицы.

Мы свернули налево. Мелькнул какой-то пруд, и копыта лошадей глухо тронули бревенчатую мостовую. Тележка неистово заметалась, попадая колесами в щели. Я чуть было не вывалился в грязь.

— Крымский брод,— сказал Листов.— Проклятое место. Терпите, поручик. Сейчас будет Никольский мост, а там уж недалеко...

Совсем медленно, шаг за шагом мы проехали ветхий мост, у него даже перила были развалены. Такого моста я не помнил и старался понять, где мы едем.

Все это утро в Москве показалось мне долгим белесым полусном. Я не мог разглядеть города, ватный туман бережно пригласил остроту первой встречи, приучая меня к новизне пока еще запахами, смутными контурами и тем неуловимым, что поселяется в городе с момента его рождения и определяет своеобразие на все времена.

Вот дом Листовых на Пречистенке, разговор с Никодимычем, бойкий мальчишка, посаженный на козлы моей тележки с наказом отвезти меня к дому генерал-губернатора и обратно. Потом скачка по улицам с птичьим покрикиванием возницы

и розовый накал тумана, уже отступавшего под утренним солнцем, когда мы въезжали на Лубянку.

Несмотря на ранний час, у дома генерал-губернатора было оживленно. Входили и выходили люди, стояло несколько экипажей. В приемной, полукруглом зале с колоннами, прохаживалось несколько офицеров. Я подошел к адъютанту.

— Поручик Берестов с депешей из штаба Кутузова,— сказал я.

— Из штаба? — Офицер отодвинул бумаги.— Однако что за форма на вас? Когда вы прибыли?

— Только что.

— Пожалуйста депешу.

Он взял синий конверт, хмыкнул, еще раз оглядел меня и стремительно, как-то боком исчез в дверях. Затем я услышал голос:

— Поручик Берестов, к генерал-губернатору!

В просторном кабинете с темным блеском паркета и тяжелой зеленой портьерой сидел человек в сюртуке с генеральскими эполетами. Он сказал, не отрываясь от бумаг:

— Присаживайтесь, голубчик.

Еще минуту он что-то писал, потом встал, быстро подошел ко мне и, заложив руки за спину, стал разглядывать.

Это был граф Ростопчин, только одновременно живет и старше, чем я видел его на портретах. Большой, несколько широковатый лоб, от которого все лицо быстро суживалось книзу. Густые черные брови с быстрым, любопытным взглядом темных глаз, полуулыбка на тонких губах и яркие, чуть ли не нарумяненные щеки. Серо-голубой сюртук ладно сидел на его невысокой, плотной фигуре. Сзади во всю стену висела карта России.

— Сидите, сидите, в ногах правды нет...— Он продолжал меня разглядывать: — Да вы молоды... Так вот, батенька, штука в чем. Депеша, которую вы привезли, вовсе не депеша. А по правде, я просил генерала Ермолова прислать вас ко мне под любым предлогом. Дело в том, что на вас падает подозрение в измене.

Я встал.

— Но ведь это только подозрение, друг мой, подозрение...

— О каком подозрении вы говорите?

— Так это не я говорю, золотой мой. И подозрения не мои. Я оттого вас вызвал, что батюшку вашего хорошо знал и решил не давать вас в обиду. Да вы садитесь, садитесь...

Он стал легко расхаживать по кабинету.

— Месяц назад были захвачены бумаги генерала Себастиани, а в них обнаружено донесение Мюрата о предполагаемом движении русских на Рудню. Решение о движении на Рудню было принято на военном совете только за два дня до этого. Ну, разумеется, стали искать изменника. Подозрения, подозрения... Вот и на вас думали...

— В какой связи?

— Как, братец, в какой? Вот мне докладывали, что вы по аванпостам разъезжаете, рисуете что-то. Конечно, страсть к художеству похвальна, но в армии надо быть осторожным, ох каким осторожным. Есть ведь недоброжелатели. Короче, вас было хотели арестовать и дознаваться, но до меня дошло. А я не позволю бесчестить сына старого воина, которого хорошо знал...

Ростопчин ходил, как бы пританцовывая, поглядывал на меня все так же насмешливо, но в то же время внимательно.

— А что ж вы в старом мундире? Бедствуете? И документы, говорят, потеряли. Но это ничего. Вот побьем французов, чин получите, все образуется... Так я о чем? Словом, вот мой план. Вы денька два здесь побудьте, на обед милости просим, а там поезжайте в армию. Я вас письмом снабжу к самому светлейшему, сниму подозрения... Вы ведь клянетесь именем своего батюшки, что ничего дурного противу отечества не замыслили?

— Я... конечно...

— Вот и прекрасно. Не сомневайтесь ни минуты, я на себя это дело возьму. Напишу, чтобы во всем разобрались, дали вам место в полку. А теперь отдыхайте, голубчик. Вы где остановились?

— У знакомого.

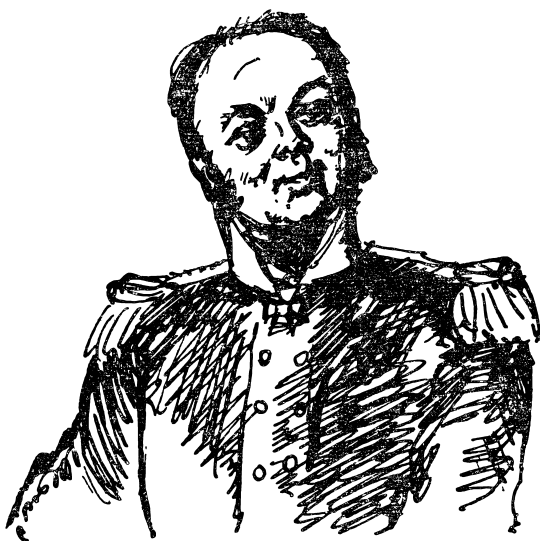
— Вечерком буду ужинать у князя Долгорукова, приходите запросто. У нас тут в Москве без церемоний. Только не путайте, Долгоруковых много. Я у того, которого дразнят «балкон» за челюсть здоровенную. Ха-ха, забавно, не правда ли? Ну, идите, идите, мой друг. И не благодарите. Батюшку вспоминайте, ему обязаны. До вечера.

Я уже открывал дверь, как Ростопчин сказал:

— Постойте. Что-то меня просили передать вам о докторе Шмидте...

Я остановился.

— Доктор Шмидт, доктор Шмидт...— Ростопчин потер



рукой лоб.— Что-то вам про доктора Шмидта... Да напомним же, ведь я не знаком с этим Шмидтом!

Я неуверенно молчал.

— Вы что, не знаете доктора Шмидта?

Я пожал плечами.

— Но ведь именно вам меня просили передать что-то об этом докторе. Вспомните же наконец.

Я молчал.

— В таком случае, вернитесь,— сказал Ростопчин.— Придется нам вместе вспоминать.

Он уже не улыбался. Темные глаза смотрели твердо и холодно, но с той же долей насмешки.

— Вернитесь. Так вы не знаете доктора Шмидта?

— Возможно, и знаю,— ответил я.— Но не могу же упомянуть всех, знакомых у меня очень много.

— Какая забывчивость! — сказал Ростопчин.— В такие-то молодые годы. Возможно, письмо одной особы напечатает вам о докторе Шмидте.

Он выдвинул ящик стола и достал небольшой листок бумаги.

— Не любопытствуя до ваших интимных дел, читаю только то, что касается доктора Шмидта. Итак, слушайте: «Здесь я увидела доктора Шмидта, о котором ты мне говорил. Он и не Шмидт вовсе и занят тайным делом, но для меня это давно не тайна...»

Дальше не продолжаю,— сказал Ростопчин.— Здесь слишком много для вас любопытного. Если вы забыли доктора Шмидта, то, надеюсь, не забыли особу, написавшую вам это послание?

— Не знаю,— сказал я.— Возможно, письмо вовсе не мне.

— Вам, как не вам. Поручик Берестов разве не вы?

— Все это недоразумение.— Я отвечал наугад, чувствуя, что попал в историю.

— Возможно, и так,— сказал Ростопчин.— Давайте тогда разберемся. Я повторяю вопрос: вы помните ту особу, которая написала письмо?

Я снова пожал плечами.

— Ах, вот как! — удивился Ростопчин.— Прекрасное самообладание! Так я вам напомню. Полюбуйтесь.

Он положил передо мной медальон на тонкой серебряной цепочке. На верхней крышке медальона белой, голубой и сиреневой эмалью был выписан тонкий узор, напоминающий сложный вензель.

— Откройте, откройте,— сказал Ростопчин.

Я открыл медальон. Внутри него на темно-голубом овале написан женский портрет. Лицо повернуто в полупрофиль, но глаза смотрят прямо. Волосы спадают на плечи до открытого платья.

Я не сразу понял, что девушка в медальоне очень напоминает Наташу.

## 7

— Вспомнили? — спросил Ростопчин.

Я рассматривал медальон, а внутри росло изумление. Только детали не соответствовали в портрете — платье, прическа,— в остальном казалось, что он писан с Наташи.

— Кто это? — спросил я.

— Однако! — сказал Ростопчин.— Подпись художника хоть разбираете?

Да, я увидел подпись. Мелко, но четко внизу овала: «А. Берестов».

— Не помните своих моделей? — спросил Ростопчин.

— Я вообще многого не помню, граф, — ответил я.

— Зовите меня просто «ваше сиятельство», — быстро правил Ростопчин. — Для российского подданного ваше обращение может показаться странным. Когда вы отправились с депешей?

— Вчера утром.

— Почему только сегодня явились?

— Пошел дождь, и дороги развезло. Я ночевал в пути.

— Где?

— В какой-то деревне.

— Но в вашей подорожной нет ни одной отметки! Где вы меняли лошадей?

— Я не менял лошадей.

— По какой дороге вы ехали?

— На Москву только одна... хорошая дорога.

— Две, батенька, две!

Я не мог сообразить, как вести себя в отношении Листова. Ведь он просил сохранить в тайне заезд в свое имение.

— Майор Сухоцкий приписал на депеше, что вас сопровождает ротмистр Листов. Где он?

Я пожал плечами:

— Разве моя забота следить за ротмистром, посаженным мне в тележку?

— Ах, золотко мое! — Ростопчин картинно всплеснул руками. — Да согласитесь наконец, что все это выглядит странно! Вас отправляют курьером, вы скитаетесь бог знает где, не отмечаете подорожную, теряете сопровождающего, а кроме того, ничего не желаете помнить!

— Но это лучше, чем помнить то, чего не было, — заметил я.

— В каком смысле? — насторожился Ростопчин.

— Вы начали с моего батюшки и вашей памяти о нем. Как я теперь понимаю, это была всего лишь шутка?

— Ну конечно, дорогой мой! Хотя не поручусь, что среди моих знакомых не было какого-нибудь Берестова. Но шутка, пусть шутка. Я-то генерал-губернатор Москвы, и мне шутить сам бог велел. А вам-то какой резон? Я вас все равно перешучу.

— Мне вовсе не до шуток, — сказал я.

— Смело! — сказал Ростопчин. — Вы говорите со мной довольно смело! Похоже, что на руках у вас еще остались козыри. Но сначала разберемся с теми, которые мне известны.

Он положил на стол папку и постучал по ней пальцем.

— Тут все о вас. Сначала свидетельства об участии в Финском походе. Потом вы исчезаете на два года. И вот снова в войсках. Никаких документов ни о вашей службе, ни о вашем происхождении, только устные рассказы. В частности, доверенные лица сообщают, что вы любите ездить по аванпостам и что-то зарисовывать. Наконец, к нам попадает письмо от некой особы с упоминанием о докторе Шмидте, которого, как явствует из послания, вы знаете, но вспоминать не хотите. Думаю все же, что для вас не секрет начинание этой персоны. Доктор Шмидт, он же Франц Леппих, занят важным государственным делом.

Леппих, вот оно что! Тогда ясно, почему так заинтересован мной Ростопчин.

— Словом, — продолжал тот, — вам вряд ли меня переиграть. Ответьте честно: кто вы? В каком тайном обществе состоите? Якобинец, мартинист, иллюминат? Какую цель преследуете в России? Ошибки вашего поведения бросаются в глаза. Вы не умеете докладывать, носите несуразный мундир, обращаясь ко мне, упорно избегаете должного титулования. Это доказывает, что вы находитесь в непривычной обстановке. Быть может, вы просто французский шпион?

— Шпион без документов, в «несуразном» мундире и необученный русскому?

— Вы правы, это нелепо. Тогда кто же? Быть может, вы действуете в одиночку? Быть может, вы основатель и пока единственный член какого-нибудь тайного союза или простой авантюрист?

— А почему бы не предположить, что я просто чудак? Бродячий философ, безобидный странник?

— Ну уж увольте! — Ростопчин усмехнулся. — Бродячих философов в военное время запирают в сумасшедших домах. У меня бунт на носу, сударь! По Москве слухи, аки змеи, ползают. То о пожаре, который Москву спалит. То о Бонапарте, который и не Бонапарт вовсе, а сын Екатерины. То о вещих голосах и страшных видениях. Кроме того, безобидные странники странствуют в мирных палестинах, а вы все жметесь к военным делам, где люди только и делают, что обижают друг друга.

— Бывают странники, о которых вы не имеете представления,— сказал я.

— Возможно,— холодно согласился Ростопчин.— Поскольку вы обходите трудный вопрос о вашей личности, я вам задам другой, полегче. И только в случае ответа мы с вами можем как-то договориться.

— О чем?

— О вашем будущем, мой милый, о вашем будущем! — Ростопчин вскинул брови.— Только о вашем будущем, в котором намечаются осложнения, мы и можем договариваться. Итак, отвечайте: что вы знаете о докторе Шмидте, или Франце Леппихе?

— У меня есть предложение,— сказал я.

— Какое?

— Я отвечу на вопрос о Франце Леппихе, а вы ответите на вопрос об этой, как вы сказали, «модели».— Я показал на медальон.

— Ради бога,— игриво сказал Ростопчин.— Все, что могу!

— Тогда слушайте. Я, разумеется, только то, что помню...

— Разумеется,— сказал Ростопчин.

— Вас какая часть жизни Леппиха занимает? Если начальная, то скажу, что он родился в Германии. Служил инженером в Вюртембергских войсках. Так, что же дальше... Придумывал разные забавные вещи, например панмелодикон — это что-то вроде шарманки. Потом предложил проект воздушного шара французам, но, кажется, ничего не вышло. Дальше, пожалуй, вы знаете сами.

— Продолжайте, продолжайте,— сказал Ростопчин.

— Я продолжаю. При Штутгартском дворе служит русский посланник, он-то и проявил интерес к воздушному шару. В мае этого года Леппих доставлен в Москву. Здесь ему отвели усадьбу князя Репнина, дали рабочих. Но что толковать долго, ведь это ваша деятельность. Вы и денег Леппиху отпустили, кажется, тысяч сто. Я правильно говорю?

Откинувшись; Ростопчин смотрел на меня. Румянец на его щеках пылал, в глазах появился блеск.

— Вы знаете больше, чем я предполагал,— сказал он.

— Могу добавить,— сказал я.— Если мы посидим здесь до полудня, то вам принесут на проверку только что отпечатанную афишку. Вы сами ее сочинили вчера. В ней говорится о предстоящих испытаниях воздушного шара, сделанного на погибель врагам.



Ростопчин молча смотрел на меня.

— Еще к вопросу о шаре. В эти часы Кутузов пишет вам записку, в которой спрашивает, пришлют ли ему обещанный азбука к сражению. Вы получите эту записку к вечеру с курьером полковником Федоровым. Запомните: Федоровым, и никем другим.

— Вы что, колдун? — резко спросил Ростопчин и пальцами застучал по столу.

— Не думаю. Но вы ставите меня в такое положение, когда я вынужден выкладывать те козыри, которые вам не известны.

— Что вам мешает выложить их до конца?

— Боюсь, вы не поверите.

— А если поверю?

— В таком случае поверьте, что я знаю о вас все. Я знаю, что будет с вами завтра, что послезавтра, чем кончите свои дни. В такой же мере я знаю это о многих других.

— Это и есть ваши козыри?

— Только часть их.

— Чем вы докажете основательность своих слов?

— Разве я уже не доказал?

— Пока вы сделали несколько намеков на доказательство.

— Но только намеками я и предпочитаю пользоваться. Я вообще не уверен, что правильно поступаю, разговаривая с вами так откровенно.

— Польщен. Но хорошо бы вы сделали еще пару намеков, чтобы я окончательно уверился в вашей таинственной осведомленности и разговаривал с вами не как с простым поручиком, а как с обладателем некой магии.

— Который сейчас час?

Ростопчин вытащил луковицу часов:

— Десять.

— В одиннадцать к вам пожалует генерал Платов.

— Платов? Но ведь он в армии. Что ему делать в Москве?

— Он только что приехал и сейчас в доме губернатора Обрезкова. Через полчаса выедет к вам.

Ростопчин взял колокольчик и позвонил. Вошел адъютант.

— Пошлите к губернатору Обрезкову и узнайте, нет ли там генерала Платова.

— Платова? — Адъютант растерянно улыбнулся. — Но он в армии, ваше сиятельство.

— Пошлите, пошлите,— сказал Ростопчин.— И не прячьте от меня генералов.

Все так же растерянно улыбаясь, адъютант вышел.

— Платов...— задумчиво сказал Ростопчин.— В народе его считают колдуном. По звездам гадают... Это не ваш сподвижник? Два колдуна в один день — многовато.

— Колдун для меня слишком мелкое звание,— сказал я.— Не смею напомнить, что вы мой должник.— Я показал на медальон.

— Ах, это?..— сказал Ростопчин.

— Ваше сиятельство,— в двери показался адъютант,— Матвей Иванович и вправду в Москве. Я не успел послать, как от него приехали.

— И что же?

— Через полчаса будут у вас.

— Прекрасно,— сказал Ростопчин.— Приготовьте лимонной, без нее у нас разговор не пойдет.

Я сказал:

— Как видите, я был прав.

— Да, да...— рассеянно согласился Ростопчин.

— Вы обещали рассказать про девушку.

— Но что именно? Я даже имени ее толком не помню. Кажется, Наталья. Так ли?

— Где она? — быстро спросил я.

— Уж будто вы сами не знаете. А если и не знаете, могли бы догадаться. Если пишет о докторе Шмидте, значит, письмо из усадьбы князя Репнина.

— Нельзя ли туда наведаться? — сказал я.

— Пожалуй...— медленно согласился Ростопчин.— Пожалуй... Я дам вам провожатого.

Больше он не требовал от меня признаний. В глазах его светился азарт. Я видел, что он возбужден, как охотник, напавший на след.

Что он думал обо мне, за кого принял? «Сумасшедший Федька», как звала его Екатерина; этот граф, одевший по вечерам зипун и тайно бродивший по кабакам, где слушал скоморохов и дрался с пьяницами; этот остряк, знаток народной речи, выходивший на кулачные бои между фабричными и ремесленниками, но боявшийся набата до того, что велел обрезать веревки у колоколов; этот сумасбродный генерал, способный принимать противоположные решения одновременно,— вот он стоял передо мной, нервно сжимая и разжимая

пальцы. И мне казалось, что этими пальцами он то хватал, то отпускал меня.

— Я дам вам провожатого, — теперь уже настойчиво повторил он.

— Я бы хотел прочитать все письмо, — сказал я.

— Э, нет! — Он поспешно смахнул письмо в ящик стола. — Я уж и так на многое согласился. Письмо я вам дам прочитать вечером, когда приедете на ужин к Долгорукову.

— Вы уверены, что оно послано из имения Репнина?

— Обижаете, батенька, обижаете.

— Но может быть, давно?

— Да нет, вовсе недавно. Неделя тому.

— В таком случае я готов ехать.

Ростопчин позвонил в колокольчик. Вошел адъютант.

— Разыщите немедленно штабс-капитана Фальковского.

— Фальковский здесь, — сказал адъютант.

— Зовите.

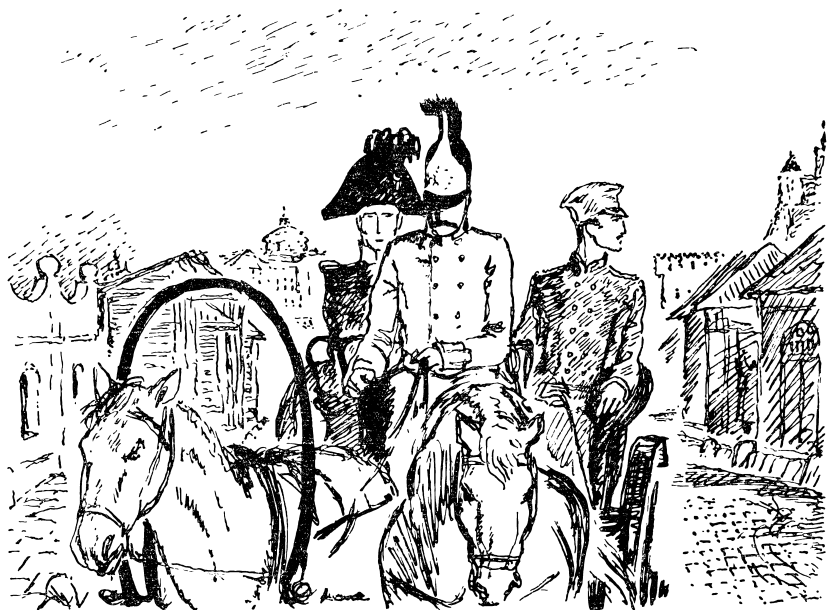
## 8

Неужели судьба поручика Берестова так чудесно совместилась с моей, что даже девушка с лицом Наташи, с ее именем присутствует в его жизни? А может быть, это сама Наташа, попавшая сюда тем же таинственным способом, что и я? Во всяком случае, я почувствовал, что моя жизнь здесь может стать такой же полной и естественной, как в недалеком прошлом, а вернее сказать, будущем, отделенном теперь полтора веками.

Штабс-капитан Фальковский оказался высоким офицером, затянутым в темный мундир, в глубоко посаженной треуголке с коротким черным султаном.

Его лицо запоминалось сразу. Обрамленное жесткими соломёнными завитками волос, неподвижное, слегка песочного оттенка, с большими голубоватыми глазами, которые смотрели на вас, но в то же время намного дальше. Он мало разговаривал и вел себя так, как будто на него возложили неприятное поручение.

Мальчишку с лошадьми я отправил к Листову. Фальковский показал на рессорные дрожки и коротко заметил, что в них ехать удобней. Мальчишку я просил передать, что



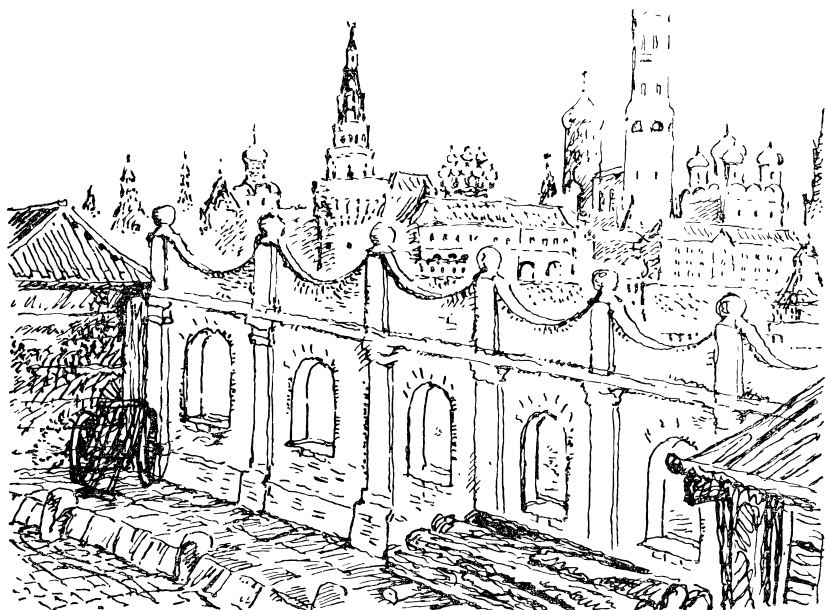
наведаюсь к Листову вечером. Тот дернул вожжи, крикнул на пятившихся лошадей: «У, Барклай проклятый!» — и радостно унесся вниз по Лубянке.

Я тщетно пытался вспомнить, кто такой Фальковский. Если Ростопчин поручил ему ответственное дело по моей опеке, то, стало быть, ценит его высоко. Но ни в записках Ростопчина, ни в документах того времени такой фамилии я не встречал. Правда, упоминал Ростопчин про несколько безымянных своих агентов, но вряд ли там речь шла о Фальковском. Этот, я чувствовал, стоял повыше.

День как будто бы разгулялся, но чистым и ясным он все-таки не был. Это был горьковатый день изначальной осени, когда туманное ярко-желтое солнце насыщает дымчатый воздух янтарным свечением, и оттого все вокруг — дома, мостовая, деревья, соборы — приобретает немного печальный оттенок осенней листвы, хотя увядание еще не вступило в свои права.

— Нельзя ли проехать через Кремль? — сказал я.

— Так и едем, — сухо ответил Фальковский.



Дрожки катили несравненно мягче нашей тележки. На козлах сидел солдат в тусклой каске с гребнем, драгунском мундире, с палашиом, болтающимся в такт движению.

Мы проехали ворота грязно-белой стены, Китай-город. Быстро прокатили по улице, которой я не узнал, но по расположению это была Ильинка, и оказались на площади, в конце которой игривой пирамидой стоял Василий Блаженный. Красная площадь!

Необычный, но такой неоспоримый ее облик поразил меня. Возможно, потому, что беленые стены Кремля показались ниже, возможно, потому, что между зубцами кое-где пробивалась трава, возможно, потому, что ее пустынное, не везде вымощенное пространство пересекал выводок утят, но Красная площадь предстала вдруг такой домашней и близкой, что на мгновение показалась просторным двором моего детства.

Дрожки, подпрыгивая, проехали мост у ворот. Внутри стен тоже веяло чем-то домашним. Между ветхими домами, которые еще здесь уцелели, на веревках болталось белье. Над ними торжественно неспокойным светом горело золото глав.

Я взглянул налево. Там в зеленых садах, желто-белых пятнах соборов, каком-то паутинном, золотистом блистании воздуха раскинулось Замоскворечье. Чернел массивный Каменный мост, в его частых арках до пены бурлила вода. Дальше торчали мачты кораблей.

Мы выехали из Троицких ворот, прокатили по горбату мосту через Неглинную. Мужик, загнав лошадь по брюхо в воду, чистил ее скребком.

Красноватое здание университета осталось справа, и вот мы уже стучим по мосту, заставленному деревянными ларьками.

Я оглянулся на Кремль. Белый, в зелени пригорков и золоте глав, он казался молодым и беспечным. Заросший травой берег, еще не обрамленный парашетом, отлого взбирался к башням и стенам.

— Скоро ли будем в Воронцове? — спросил я Фальковского.

— Шесть верст за Даниловской заставой.

— Разве не за Калужской?

— От Даниловской дорога лучше.

— Вы меня провожаете или имеете еще какое-нибудь распоряжение?

— Провожая, — коротко ответил Фальковский.

Уж это вряд ли, подумал я, а вслух спросил:

— Вам известно, зачем я направляюсь в имение князя Репнина?

— Не совсем, — ответил Фальковский.

— Ну-ну. Уж вы-то не можете не знать, что там строится воздушный шар.

— Это мне известно.

— Но это дело представляет государственную тайну.

— Разумеется.

— И, видно, не всякий любопытный может туда поехать.

— Конечно.

— Но вы мне даны в провожатые, а значит, бывали там не однажды и, стало быть, причастны к этой постройке. Поэтому я не допускаю мысли, что вам не известна цель моей поездки.

— Мне известно то, что вы называете «целью» своей поездки, — холодно сказал Фальковский. — Однако зачем вы туда едете на самом деле, я не знаю.

— Вот это лучше! — сказал я. — Предпочитаю откровен-

ность, поскольку еще не совсем научился лавировать в этом мире. Послушайте, Фальковский, скажу вам сразу и честно: воздушный шар меня не интересует. Я не французский шпион и не якобинец, как думает ваш патрон граф Ростопчин. Меня интересует только девушка, вы знаете, о ком я говорю. Ее зовут Наташа. Мне нужно разыскать ее.

— Если она там, вы ее найдете.

— Послушайте, Фальковский, за кого вы меня принимаете? Я не так уж глуп. Когда я просил у графа письмо, он обещал показать его, когда вернусь. Но если бы я застал в имении ту, которую искал, зачем бы мне ее старое письмо? Значит, граф заранее знал, что я приеду ни с чем. Остается сделать вывод, что знакомой моей в Воронцове уже нет.

— Вы показали правильный ход рассуждений,— сказал Фальковский.— Но если вы так уверены, что ее нет в Воронцове, зачем вы все-таки едете туда? Мне остается думать, что у вас есть и другая цель.

— Значит, вы едете со мной в качестве... мягко говоря, наблюдателя?

— Ваше право думать, как вам угодно,— сказал Фальковский.

Могло показаться, что он играет в открытую.

— Послушайте, Фальковский,— сказал я, стараясь, чтобы слова мои звучали игриво.— Переходите ко мне на службу!

— Что вы имеете в виду? — спросил он, ничуть не удивляясь.

— Да вот мы торговались с графом так и эдак, разошлись вничью, а он приставил вас ко мне. Раньше вы служили ему, а теперь будете служить мне.

— В чем будет состоять эта служба?

— Вы просто перестанете за мной следить, а главное, можете отыскать ту девушку.

— Я не ценитель таких шуток,— сказал Фальковский.

— Учтите, ведь я колдун.— Мне становилось весело.— Могу напустить на вас какую-нибудь порчу, а сам переселюсь, скажем... в другое столетие.

— В хорошие времена колдунов жгли на кострах,— с любезной улыбкой сказал Фальковский.

Он был невозмутим. Чего он ждет от поездки в Воронцово? Моей встречи с Леппихом? Из письма той девушки выходило, что Берестов осведомлен о Леппихе-Шмидте, быть может, они даже знакомы.

Полчаса мы катили по дороге среди небольших рощ, деревень и усадеб. Показались ворота в виде псевдоготических башен, за ними каменные флигеля и желтый господский дом, тоже с башенками по краям.

— Воронцово,— сказал Фальковский.

— Послушайте,— сказал я весело,— я вас предупреждаю, что, как только сочту свое дело законченным, в любой момент могу исчезнуть. И не ищите меня.

— Отчего же,— сказал Фальковский с улыбкой,— если уж я к вам приставлен, то постараюсь найти где бы то ни было.— Он посмотрел на меня как бы рассеянным, но таким пристальным взглядом и добавил: — И даже в другом столетии.

## 9

Я хорошо помнил историю с воздушным шаром Леппиха. Интерес к ней возник у меня, когда в документах штаба я встретил записку Кутузова к Ростопчину с просьбой сообщить о «еростате, который тайно готовится близ Москвы». Записка была датирована сегодняшним числом, и это позволило мне в разговоре с Ростопчиным играть роль провидца.

Необычное предприятие привлекло мое внимание уже тем, что в наши дни оно было почти забыто, хотя в двенадцатом году порождало много толков и фантастических рассказов. Даже в «Войне и мире» есть несколько слов, как Пьер едет в Воронцово посмотреть на постройку Леппиха.

Мне с трудом удавалось отыскивать достоверные сведения, чаще встречались невнятные упоминания об «огненном шаре» и близкой гибели от него французов.

«Вот вам Русь-матушка»,— сказал Листов, когда мы легко миновали Калужскую заставу, в то время как на Дорогомиловской нас долго бы проверяли. То же касалось и Воронцова. Постройка шара облекалась самой строгой государственной тайной, переписка Ростопчина с императором Александром об этом считалась секретной. В то же время десятки любопытных ездили в имение Репнина по пригласительным билетам, чтобы своими глазами увидеть шар и его изобретателя.

Много я знал о шаре, но, как видно, не все. Не знал, например, что у Франца Леппиха есть второе имя — доктор



Шмидт. Теперь же, когда мы подъехали к белым башенкам воронцовской усадьбы, когда далекая история с воздушным шаром приблизилась к моей жизни так, что повяло чем-то неясно-знакомым, быть может, незримым присутствием той девушки с лицом Наташи,— теперь мне показалось, что я не знаю об этой истории ничего.

Караульный солдат у ворот отдал честь, мы въехали в усадьбу. По двору в беспорядке раскиданы доски, пруты, куски листового железа. Вдоль забора на кольях развешаны длинные полосы желтоватой материи. Несколько рабочих стучали молотками в разных углах. Дымила кузня, оттуда слышался звон металла.

Подбежал унтер-офицер в таком же, как на Фальковском, полицейском мундире. Одной рукой он застегивал воротник, другую поспешно прикладывал к треуголке.

— Где доктор Шмидт? — спросил Фальковский.

— В саду, стреляет из пистолета.

— Все в порядке?

— Так точно, господин штабс-капитан.

— Караулы на месте?

— На месте, господин штабс-капитан.

— Смотрите в оба. Завтра-послезавтра начинаем. Советую пустить один караул по большому кругу вдоль забора. Там местные все толпятся. Гнать по домам. Иди.

Унтер ушел.

— Быть может, желаете для начала познакомиться с доктором Шмидтом? — спросил Фальковский.

— Не откажусь. Но главное — отыскать девушку. В усадьбе есть женщины? Чем они могут быть заняты?

— Женщин в усадьбе нет. По временам наезжает княжна Репнина со служанками, для них оставлен отдельный флигель. Впрочем, спросите доктора Шмидта. Он здесь безвыездно.

Мы обошли дом. Среди лиловатых приземистых вишен спиной к нам стоял человек в белой рубашке. Он целился из пистолета в бутылку, надетую на обломанный сук.

— Учтите,— сказал Фальковский,— доктор Шмидт одинаково плохо говорит на всех языках. Родного, по-моему, не имеет. Так что выбирайте для общения с ним любой.

Раздался выстрел. Бутылка разлетелась вдребезги.

— Mais vous êtes un tireur parfait, docteur Chmidt! <sup>1</sup> — сказал Фальковский.

<sup>1</sup> Вы отличный стрелок, доктор Шмидт! (франц.) \*

Человек обернулся:

— Vous êtes venu de nouveau pour me déranger? <sup>1</sup>

Быстрый взгляд его маленьких, но каких-то горячих глаз скользнул по мне, но тут же он стал рассматривать пистолет, пригнувшись к дымящемуся дулу и бормоча:

— Was zum Teufel ist das für Pulver! So dreckig! <sup>2</sup>

— Je veux vous présenter encore un curieux <sup>3</sup>,— сказал Фальковский.

— Vos curieux m'embêtent <sup>4</sup>.

— Il avait tellement hâte de vous voir <sup>5</sup>.

— Quoi! <sup>6</sup> — Человек с недовольным видом принялся забивать новую пулю.

— Je dis qu'il a tant parlé de vous <sup>7</sup>,— сказал Фальковский.

— Je ne comprends pas <sup>8</sup>.— Человек поморщился и вдруг перешел на русский с порядочным немецким акцентом: — Почему русские имеют страсть говорить не на своем языке? Кто это?

— Поручик Берестов,— представился я.

— Я доктор Шмидт, большая, но тайная знаменитость,— сказал он и вдруг показал ослепительную улыбку белых зубов.— Что вас сюда привело, поручик? Не вовремя. Приезжайте лучше на поднятие шара. Кто это? — снова обратился он к Фальковскому, ничуть не церемонясь.

— Поручик ищет свою знакомую,— сказал Фальковский.

Я разглядел Леппиха. На вид ему не больше тридцати. Крепкая, приземистая фигура, темно-русые спутанные волосы, крепкий упрямый подбородок, брови приподняты кверху, так что в живом взгляде все время не то изумление, не то насмешка.

— Est-ce qu'on fabrique dans mon atelier des personnes qui se connaissent? <sup>9</sup> — спросил Шмидт-Леппих, взводя курок.

---

<sup>1</sup> Опять приехали мне мешать? (франц.)

<sup>2</sup> Черт возьми, что за порох! Какая гадость! (нем.)

<sup>3</sup> Я хочу познакомить вас еще с одним любопытным (франц.).

<sup>4</sup> Надоели мне ваши любопытные (франц.).

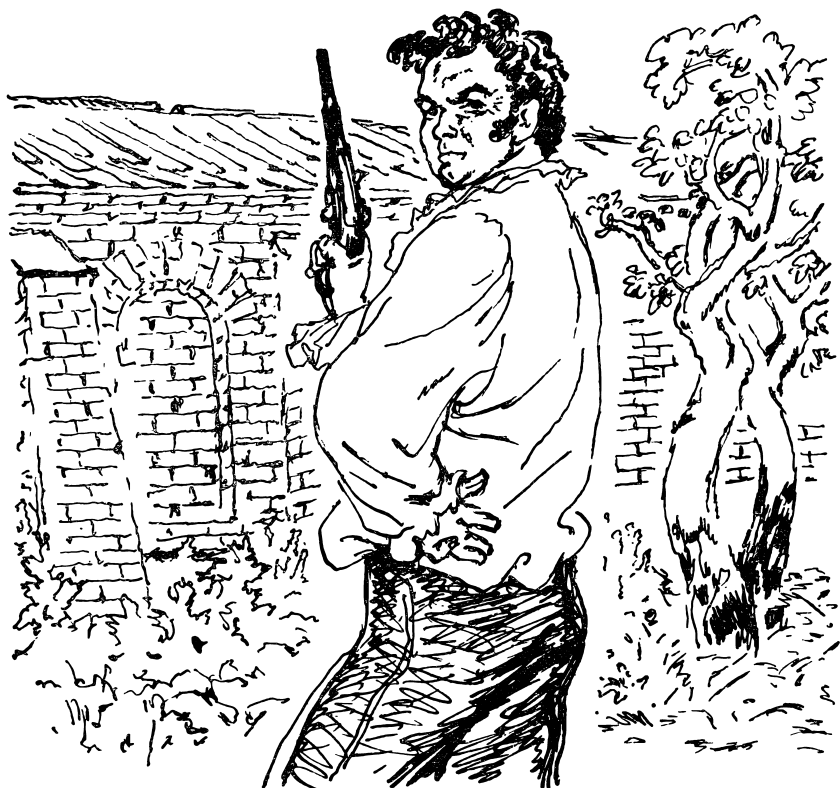
<sup>5</sup> А он так стремился к вам (франц.).

<sup>6</sup> Что? (франц.)

<sup>7</sup> Я говорю, он так много о вас рассказывал (франц.).

<sup>8</sup> Не понимаю (франц.).

<sup>9</sup> Разве в моей мастерской изготовляют знакомых? (франц.)



— Pas mal de choses mystérieuses peuvent se passer dans votre atelier <sup>1</sup>,— ответил я.

Леппих вскинул на меня глаза:

— Кто вам нужен?

— Я ищу молодую особу по имени Наталья. Недавно я получил от нее письмо, посланное из этой усадьбы. Быть может, вы будете так любезны и вспомните кого-нибудь в этом роде?

— Aber so was! <sup>2</sup> — Леппих посмотрел на Фальковского.

---

<sup>1</sup> Мало ли какие таинственные вещи могут происходить в вашей мастерской (франц.).

<sup>2</sup> Вот так номер! (нем.)

Тот пристально наблюдал за нами обоими.

— А кто вам эта особа, родственница? — спросил Леппих.

— О нет. Я рисовал с нее портреты. Это лучшая моя модель.

— Хороший пистолет, — как бы не слушая, сказал Леппих. Он взял новую бутылку и надел ее на сук. — Английской работы, мастера Беркли. Тут старое изречение на стволе, не могу понять. Капитан, вы хорошо знаете по-английски?

— Английского я не учил, — сказал Фальковский.

— Excellent<sup>1</sup>. Вот не знал! Теперь назло вам буду говорить по-английски, а то ваша опека мне надоела.

Он обратился ко мне:

— May be you know English? <sup>2</sup>

— I do a bit <sup>3</sup>, — ответил я.

— В таком случае, может быть, вы поймете? Слушайте, я прочту: «Your model is there. But she is locked in the cottage to the left of you». Как это перевести? Смысл от меня ускользает.

Фраза мало походила на изречение. Леппих сказал буквально следующее: «Ваша модель здесь. Только она заперта во флигеле слева от вас». При этом он спокойно готовился к стрельбе, нащупывая ногой твердую позицию.

Я сразу принял игру.

— По-моему, здесь какой-то вопрос о смысле жизни. Примерно так: как я найду пути к желаемому?

— На это всегда нечего ответить, — сказал Леппих, поднял руку и, почти не целясь, выстрелил. Пуля срезала горлышко. — Что же касается девушки, то не знаю, что и сказать. Девушки здесь бывали, но я не обращал на них внимания. Спросите лучше у штабс-капитана или его солдат.

— Все возвращается на круги своя, — сказал я Фальковскому и, взяв его под руку, отвел от Леппиха, который вешал на сук новую бутылку.

— Послушайте, вы не верили в мои способности. Хотите, я через две минуты скажу, где та девушка, которую ищу?

— Буду рад за вас, — сказал Фальковский. — Вы намекаете, что она в усадьбе?

— Давайте только пройдемся.

---

<sup>1</sup> Отлично (англ.).

<sup>2</sup> Может быть, вы знаете по-английски? (англ.)

<sup>3</sup> Немного (англ.).

Мы медленно пошли вокруг дома. За углом на дощатом помосте стояло сооружение, похожее на корзину с крыльями. Несколько толстых прутьев скрещивалось над ней, образуя беседку. Видно, это была гондола аэростата.

Я вел Фальковского прямо к флигелю, о котором сказал по-английски Леппих. Почему он сделал это, я еще не успел задуматься.

— А что у вас там, во флигеле? — сказал я Фальковскому. — Нельзя ли зайти?

— Извольте. — Фальковский усмехнулся. — But I'll be surprised if you will find anybody there <sup>1</sup>.

Он все-таки знал английский! На мгновение я растерялся.

— Минуту назад вы уверяли, что не учили английского.

— Это верно. Я никогда его не учил, — сказал Фальковский. — Поэтому вряд ли смог бы понять старое изречение. Но те крохи, которые знаю с детства, помогли разобрать, что доктор Шмидт читал вам вовсе не изречение.

— Остроумно, — сказал я.

— Послушайте, поручик, — сказал Фальковский. — В колдунов я не верю. А раз вы не разобрались, зачем мы сюда приехали, тем более в колдуны не годитесь.

— Зачем же мы сюда приехали?

— Особа, которой вы интересуетесь, все-таки содержится в усадьбе, только в другом месте. Не скрою, что ваша встреча мне любопытна.

— Ну так устройте ее.

— Тарантьев! — крикнул Фальковский.

Прибежал унтер-офицер.

— Переведите девушку из караулки в этот флигель и дайте мне еще двух человек.

Тарантьев побежал к воротам. Значит, она в одной из белых башенок у въезда в усадьбу? Сейчас увижу ее. Кто же она, кто?

Но вот Тарантьев бежит назад. Лицо его покраснело, глаза выкатились.

— Ее нет! — кричит он издали.

— Что-о?

— Нету, господин штабс-капитан!

— Там же нет окон! — закричал Фальковский.

— Нету, нету! — отчаянно повторял Тарантьев. — Ушла!

---

<sup>1</sup> Только я удивлюсь, если вы там кого-нибудь найдете (англ.).

— Болваны! — крикнул Фальковский.

Его взгляд метнулся по двору, туда-сюда, задел мое лицо. Тут же он повернулся и стремительно пошел к воротам. Тарантьев кинулся за ним.

Остальное заняло буквально две-три минуты. Меня дернули за рукав. Я обернулся, это был Леппих.

— Идите за мной, — прошипел он.

В двух шагах от флигеля был сарай. Вслед за Леппихом я скользнул в его приоткрытую дверь.

— Снимайте мундир. Быстро! — сказал Леппих. — Иначе вам не избавиться от вашего приятеля. Да быстрее, быстрее, говорю вам!

Я поспешно стащил мундир. Он натянул его на свое плотное тело так, что затрещали нитки. Сорвал с меня фуражку, надвинул на лоб и вышел из сарая, буркнув:

— Спрячьтесь на сеновале.

В полуоткрытую дверь я видел, как он с неуклюжей быстротой дошел до коновязи, сел в дрожки Фальковского, развернулся по двору плавным широким кругом и, набирая скорость, помчался к воротам, одна половина которых была все еще открыта.

Его сильно потрянуло на выезде, пыль вырвалась из-под колес, и дрожки исчезли.

В то же мгновение из караулки выбежал Фальковский. Он заметался по двору.

— Лошадей! Лошади, где лошади? — кричал он неистово.

Тарантьев бегом вывел двух лошадей. Они с Фальковским прыгнули в седла и, колотя бока каблуками, выскочили за ворота.

## 10

Я забрался на сеновал, еще не успев осмыслить, что произошло. В слуховое окошко было видно, как по двору бегали солдаты. Рабочие побросали инструменты и сели в тени у забора.

Я повалился в сено и закрыл глаза. Так я лежал несколько минут. Неповторимый запах сушеной травы, то нежный, едва уловимый, то крепкий и густой, обвевал меня вместе с ветерками, летавшими под крышей. Я стал забываться...

Горячий полдень, берег озера. Лежу и смотрю, как лениво качаются лодочки бликов, туда-сюда. Передо мной появляются ноги, чуть сбоку. Загорелые до сумеречно-радужного мерцания. Они вторгаются в пространство моего взгляда бесшумно, они втекают, проскальзывают. Они вырастают прямо передо мной среди колеблющихся травинки и масляных чашек куриной слепоты. Край платья обвивает их бесшумной лентой, то приоткрывая, то припадая вплотную.

— А, вот вы где прячетесь,— говорит она.

Я приподнимаюсь, смотрю на ее яркие летние губы, на белую прядь, перечеркнувшую лоб. В уголке губ розовый след ягоды.

— Я не прячусь,— говорю я.— Просто лежу.

Она смотрит на меня чуть рассеянно. Она покусывает травинку. Я не помню ее имени. Среди тех, кто приехал на дачу в это жаркое воскресенье, я многих не знаю.

— Хороший сегодня день,— говорю я просто так, лишь бы сказать что-нибудь.

Она нагибается и срывает желтый блестящий цветок.

— Садитесь,— говорю я.— Земля очень теплая.

— Нет-нет.— Она берет цветок в губы, еще раз рассеянно глядит на меня и уходит туда, где бледно-зеленые кусты всплескивают серебристо, задеты ветерком.

Я снова откидываюсь и смотрю в небо. Если смотреть долго, его голубизна начинает распадаться на дрожащие невнятные точки. Потом ветер холодком проскальзывает по глазам и смазывает картину. Несколько птиц заливается рядом. Одна пульсирующей трелью, другая точно крохотным молоточком по такой же крохотной мелодичной наковальне — тон-тон...

Кажется, ее зовут Наташей, думаю я. Или Таней? Нет, Наташа. Висит надо мной серебристый шар неба, и так сладко, так сладко лежать в траве...

Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной крыша сарая. Я сел и стал лихорадочно ощупывать руки, ноги, тело. Что со мной, где я? Это не сон. Что происходит, куда я попал? Кто я такой, наконец?

Несколько мгновений длилось это мучительное недоумение. Потом оно отодвинулось, и телом снова овладело состояние отдаленности. Но вопросы не исчезли.

Кто же я все-таки, Берестов или тот, прежний «я», ставший Берестовым на время? Быть может, мы поменялись местами, и сейчас по тому Бородинскому полю, на которое я

пришел с рюкзаком, бродит мой изумленный двойник, переселившийся на полтора века вперед? Какой смысл в этом перемещении и надолго ли оно? Быть может, навсегда, и мне пора привыкать к новой жизни, гнать из себя раздвоенность и попытаться понять, что же я, теперь Берестов, представляю в этой жизни?

Но это совсем нелегко. «Наследство», которое я получил, опустившись по временной шкале, мягко говоря, своеобразно. Странная обрывочная биография, неясность во всем и водоворот событий, в который попал сразу. В какую сторону из него выбираться? Только лицо Наташи светило теплым фонариком. Я понимал, что надо стремиться к нему, искать ее, искать, цепляться за эту соломинку, идти на этот единственный проблеск прежней понятной жизни, и, может, тогда удастся выбраться на твердую дорогу...

Леппих. Что-то в нем есть непростое. Как странно блеснули его глаза, когда мы подошли с Фальковским. Всем видом он показал, что меня не знает, но тут же ввязался в игру на моей стороне. Что ему нужно?

Странное лицо у Фальковского. Загар не загар, даже не цвет кожи. Такое впечатление, что все его существо дает изнутри этот сумрачный глиняный свет. Даже в глазах пробивается глиняная сила. Глиняный человек...

Вспоминаю Листова. Такое впечатление, что был знаком с ним давно, очень давно. Что-то удивительно близкое нахожу в его жестах, в том, как он говорит, как наклоняет голову, как идет. В памяти, как в фотографической ванночке, колеблются смутные силуэты опущенной туда фотографии, но она никак не может проявиться...

Я спал, когда меня разбудил Леппих. Он стоял у лестницы сеновала фронт фронт. Лиловый фрак, розовая атласная жилетка и черный шейный платок. В руках какой-то сверток.

— Et bien, comment avez vous dormi, homme curieux? <sup>1</sup>

— Где Фальковский? — спросил я, спускаясь.

— Как где? Вас рыщет. Наверное, поскакал в Москву.

— Но я же здесь.

— Если вы так соскучились по вашему приятелю, то можете отправляться за ним. Я дам лошадей.

— Я бы перекусил, пожалуй.

---

<sup>1</sup> Ну, как вам спалось, любопытный человек? (франц.)



— Parfaitement. Прекрасно. Я такого же мнения. Как вы находите мою маленькую шутку?

— Я боялся, они вас догонят и вам придется давать объяснения.

— Объяснения? — Леппих поморщился. — Объяснения я стану давать только императору или, в крайнем случае, генерал-губернатору, а не такому сморчку, как ваш приятель.

— Он вовсе мне не приятель.

— Я так и подумал. Мсье Фальковский уже три месяца не дает мне покоя. С начала работ над воздушным шаром он представлен здесь главным надсмотрщиком, шпионом, если хотите. Любая молва вокруг шара вызывает в нем священный трепет. Он сразу начинает рыскать, искать виноватых, запирает людей в карцер и писать докладные.

— Он не показался мне таким полицейским простаком.

— Oh la, la! — Леппих свистнул. — Он не простак, далеко не простак. Но я все-таки ловко над ним подшутил. Представляю, как он всполошился, когда я выкатил в вашем мундире!

— Зачем вы это сделали?

— Думаю, в суматохе он принял меня за вас. Мне-то, собственно, бежать незачем.

— Они не догнали вас?

— Какой там! За поворотом я сразу свернул, объехал рошу, а лошадей оставил в деревне. Ваш умный приятель, конечно, помчался к Москве, считая, что вам и бежать больше некуда. По крайней мере, до утра вы можете спокойно пользоваться моим гостеприимством.

— Вы увели Фальковского, чтобы остаться со мной наедине?

— Именно! Мне нужно с вами поговорить. Надевайте вот это.

В свертке оказался новенький гусарский мундир, черный с красными шнурами и серебром позументов.

— В нем вас никто, кроме Фальковского, не узнает. Это подарок, да мне оказался маловат. Мне тут многое надарили. Русские любят дарить. Приедет какой-нибудь граф или князь-гуляка и дарит то гончую, то трубку, то пистолет.

Мундир мне пришелся впору. Я сразу почувствовал себя свободней, чем в старом тесном кителе.

— Charmant, — сказал Леппих. — Очаровательно. Теперь пойдемте обедать. Вы мой приятель. У меня их тут много по-

явилось, как только стали ездить по пригласительным билетам.

Садом и через заднее крыльцо мы попали в дом. На блестящем фигурном паркете первого этажа были раскиданы те же доски и металлические полосы, что и во дворе.

Мы поднялись наверх. В просторном зеленом кабинете с полукруглыми кожаными диванами нам подали обед.

— Значит, вы ищете девушку по имени Наталья? — спросил Леппих.

Я сказал:

— Между прочим, не только вы провели Фальковского, но и он вас. Он знает английский и понял, что вы мне сказали.

Леппих поморщился:

— За кого вы меня принимаете? Конечно, я знал, что Фальковский сведущ в английском. Я специально подсунул приманку, а он проглотил крючок.

— Вы специально для него сказали про флигель?

— Bien sûr, разумеется. Ведь я уже знал, что девушки нет во флигеле, хотя, по мнению Фальковского, должен был знать другое. Словом, я обеспечил себе алиби.

— Какое алиби?

— На случай исчезновения девушки. Mais sacredieu! Черт возьми, как вы этого не понимаете! Я хотел показать Фальковскому, что если девушка исчезнет, то я не буду иметь к этому никакого отношения.

— Но она как раз исчезла!

— В том-то и дело, — сказал Леппих.

— Уж не хотите ли вы сказать, что именно вы помогли ей бежать? — спросил я.

— Как раз это я и хотел сказать.

Я замолчал.

— Et bien, mangez donc <sup>1</sup>, — сказал Леппих, разламывая руками курицу.

— Вы так доверяете мне, что признаетесь? — спросил я.

— В чем признаюсь? — спросил Леппих. — А впрочем, разумеется, доверяю.

— Но почему?

— Во-первых, потому, что признаваться не в чем. Если я помог невинной девушке вырваться из рук этого блюстителя, то так поступил бы любой порядочный человек. Вы не согласны?

---

<sup>1</sup> Ешьте, ешьте (франц.).



— Допустим. Но в чем он ее обвинял и почему держал взаперти?

— So ein Schwein! <sup>2</sup> Черт его знает. Девушка кому-то о чем-то проговорила в письме. Уж не вам ли?

— Похоже, что мне.

— Я так и подумал. Вы давно с ней знакомы?

— Целую вечность.

— Целую вечность? — Леппих насторожился. — Вы сказали, целую вечность?

— Да. А что вас удивило?

— Нет, ничего. Такие слова всегда сбивают меня с толку.

— Какие слова? Такие, как «вечность»?

— Да, да! — быстро и чуть ли не раздраженно сказал он. Странный человек, подумал я, изобретатель. Все они с причудами.

Обед подходил к концу. Я заметил, что Леппих стал нервничать. По его лицу вдруг пробежало волнение, глаза то и дело беспокойно останавливались на мне. Он даже начал постукивать ногой под столом и локтем чуть было не спихнул на пол большую соусницу.

---

<sup>1</sup> Скотина! (нем.)

— Как думаете,— сказал он неожиданно резким голосом,— скоро ли будет сражение?

— По-моему, в ближайшие дни,— ответил я.— Армия уже на позиции.

— Где?

— Под Можайском.

— Через два дня я буду поднимать шар. Как думаете, он поднимется?

— Почему вы меня спрашиваете?

— Я всех спрашиваю,— буркнул Леппих и уткнулся в тарелку.

— Скажите,— начал я,— вы говорили, что доверяете мне, и при этом употребили слово «во-первых». Быть может, существует и «во-вторых»?

— Быть может,— сказал Леппих.

— В чем же оно заключается?

— Оно заключается в том, что я принимаю вас за одного человека.— Леппих встал и подошел к окну.

— Поэтому вы и решили избавить меня от Фальковского?

— Justement<sup>1</sup>. Как раз поэтому.

— А если я не тот человек?

— Этого я и боюсь,— сказал Леппих.— Быть может, того человека вообще не существует.

— Как так?

— Ах! — Леппих взмахнул рукой.— Фантазия, домыслы! Послушайте...— Он повернулся ко мне: — Я только хочу вас спросить. Вы были в Финском походе?

— Да, был.

— А был ли у вас товарищ, который еще вам лошадь продал, белую лошадь?

— Было такое.

— А где он сейчас?

— Погиб,— сказал я, вспомнив слова Листова.— Убит под Грисельгамом.

— Да, это вы...— пробормотал Леппих.— Кому же еще... Я как услышал фамилию Берестов, как посмотрел на вас, сразу подумал... Нет, но кому же еще, как не вам...

— О чем вы говорите?

— О чем я говорю? Если бы я сам знал толком...— Быстрыми шагами он стал расхаживать по комнате.

---

<sup>1</sup> Именно (франц.).

— И все же?

— Послушайте.— Он остановился.— По выговору за кого меня можно принять?

— Пожалуй, за немца.

— А так? Следите, следите за мной.— И чистой скороговоркой он выпалил: — Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком... Еще — шли три попа, три Прокопья-попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про Прокопья-попа, про Прокопьевича!

Все это он выговорил не переводя дух.

— А так за кого меня можно принять?

— За кого? — повторил я с недоумением.

Я слышал бойкую русскую речь, особенно непривычную в устах иностранца, который до того говорил с сильным акцентом.

— Скажите, — он подходил ко мне, словно подкрадываясь, глаза горели, — только одно мне скажите. Умоляю, скажите правду, — лицо его исказилось, сделалось неправильным, — только одно слово... Я уверяю, мне это нужно из высших соображений, вы не подумайте, ради бога... Нет, вы позволите мне задать вопрос?

— Да спрашивайте.— Я пожал плечами.

— Мм... он не из легких, этот вопрос... — На лбу его показались капли пота.— Ведь я-то вам почти уж открылся... Все рассказал.

— Открылись? Но в чем?

— Ах! — Он махнул рукой и вдруг выпалил почти с отчаянием: — Сколько вам лет?

— Сколько мне лет? — Я удивился.

— То есть... — забормотал Леппих.— Я не в том смысле... Вы не подумайте... Словом, вам, может быть, трудно назвать свой возраст?

Это был, что называется, лобовой вопрос. Он что-то знал или о чем-то догадывался.

— Мой возраст... — повторил я.— В некотором смысле мне и правда нелегко сказать, сколько мне лет. Но вы-то что имеете в виду?

Я постарался, чтобы слова мои звучали небрежно и в крайнем случае их можно было обратить в шутку. Но для него они были облегчением.

Он опустил на стул, вытер ладонью лоб, вздохнул с облегчением.

— Так знайте,— сказал он,— я не Шмидт и не Леппих. Я русский, Иван Лепихин.

Ребяческое оживление вдруг осветило его лицо. Он вскочил, подбежал к окну, выглянул, потом вернулся ко мне и шепотом, прерывистым от волнения, сообщил:

— Думаете, я шар строю? Э, нет, я жизнь положил на это... Если бы только шар. А! Все равно не поверите!

Он принялся расхаживать по комнате, махать руками, сбивчиво говорить. Он выпаливал длинную фразу, останавливался и смотрел на меня:

— Не верите?

Потом снова принимался рассказывать о себе, о своих похождениях. Опять останавливался.

— Такая вот жизнь, ни слова не вру! Имя свое упрятал, мысли упрятал, ан своего добыюсь! Так вы хотите знать, что я строю? Шарик летучий, забаву? — Почти детское ликование сияло на его лице.— Нет, дорогой мой! Это...

Дверь распахнулась — на пороге стоял Фальковский.

# Часть вторая

*Приди, как дальняя звезда...*

А. Пушкин

## 1

С Леплиха-Шмидта, с Ивана Лепихина, начались открытия, которых я не мог сделать за библиотечным столом или в музее. Нет-нет да на моем пути стали возникать расхождения с тем, что успел вычитать о двенадцатом годе, в который так стремительно переселился во время поездки на Бородинское поле.

Не сразу я поверил странному изобретателю и сначала подозревал его в тайной игре. Еще бы! Все, что я знал об этом человеке, не очень сходилось с его признанием. Но потом события развивались так, что оснований не верить у меня не осталось.

Яркая, необычная судьба! Его беспокоило то, о чем мечтают фантасты двадцатого века. Не воздушные шары, не полеты по воздуху — его занимали полеты во времени!

Он вообразил, что может построить машину для постижения веков. Я не берусь объяснить, как он представлял себе эту машину, о ней он говорил слишком путано и сбивчиво. Но именно такую машину он и пытался строить в имении Репнина, одновременно готовя воздушный шар для полета.

Его жизнь я узнал в самых общих чертах. Он рассказал,

что родился в Туле и отец его был оружейником. Если тульский Левша блоху подковал, то и сын оружейника стал мастером на все руки. Да и не только на руки, мысль у него была любопытная, голова ясная, глаз острый.

Учился он сумбурно, то в школе, то у знающих людей.

Очень легко давались языки. Годом к шестнадцати он свободно читал на немецком, французском, английском, знал древнегреческий и латынь.

— Я на пари в два месяца любой язык могу выучить! — говорил он. — Не верите?

Такими самоучками богата наша земля. Легко пройдясь по верхам, а то и по глубоким пластам знаний, они в конце концов начинают вынашивать дерзкие замыслы. Лепихин был из таких.

Когда семья перебралась в Москву, началась бурная часть его жизни. С каким-то штаб-лекарем он строил воздушный шар и даже пытался поднять его с Воробьевых гор. Он делал наброски паровых машин, летательных аппаратов и даже лодок, которые должны ходить под водой. Но одна мечта все более властно пробивалась в сумбуре его механических фантазий.

Постичь время! Ни больше ни меньше. Он задумал серию опытов. Воздушные шары играли в них большую роль, но возможностей строить их не хватало.

— Деньги, деньги! — говорил он. — Никто не давал денег! Кому нужны мои опыты?

Лет двадцати он перебрался за границу, чтобы там попытаться сколотить средства. В Германии сумел прослушать несколько курсов Гейдельбергского университета, на учение зарабатывал летом в портах или на баварских виноградниках.

Там же ему пришла в голову мысль, что если выдать себя в России за ученого немца, то можно добиться денег на опыты. Он пристально следил за сведениями о первых аэростатах и даже ездил во Францию, чтобы посмотреть школу воздухоплавания в Мобеже. Но Бонапарт уже закрыл эту школу и больше не строил шаров.

— Аэростаты! Разве в них дело! — Он взмахивал рукой. — Но даже французский император давал на них деньги! Деньги, мне нужны были деньги и целые годы на опыты!

Дальше биография Лепихина совпадала с тем, что я успел о нем вычитать. Он выправил себе документы на имя Франца Леппиха, уроженца Мюдесхайма, прибавив для солидности несколько лет. Год служил в инженерных войсках Виртемберг-



ского герцогства, а потом познакомился с русским посланником при Штутгартском дворе.

Как и рассчитывал Лепихин, русский император заинтересовался предложением ученого человека из Германии, хотя тот же человек, только в русском обличье, уже выдвигал такую идею, но не мог допроситься средств для работ.

Леппих-Лепихин обещал построить управляемый воздушный шар для военных целей.

И вот он снова в России. Ему отведено целое имение, император Александр пишет об этом секретные письма, а генерал-губернатор Ростопчин пылко увлечен новой идеей спасения отечества. Он требует, чтобы с шара можно было забросать французскую армию разрывными снарядами.

— Он верит во всякую чепуху! — сказал Лепихин.

— Но вы обещали такой азростат,— сказал я.

— Никогда! Я только уклонялся от разговоров на эту тему. Если бы граф хоть что-нибудь смыслил, то понял бы, что шар не поднимет и пяти человек, не то что сто пудов бомб, которыми он хочет разнести в клочья французов. Ведь сколько раз смотрел чертежи и приезжал сюда! Этот граф, как красная девица, без ума влюбляется в то и другое, желает неисполнимого и ничего не видит перед собой.

Потом он сказал:

— Шар в смысле военном годится только для наблюдения, как у французов при Флерюссе. Но мне это не важно. С нашим бестолковым начальством не будет толка ни от какого шара. Другое мне нужно, другое!..

В середине этого разговора, который нам удалось продолжить потом, и появился Фальковский. Помню, я хотел спросить Лепихина о Наташе, о том, что он знает обо мне и чего от меня хочет. Но тут распахнулась дверь.

— Qu'y a-t-il?<sup>1</sup> Что вам угодно? — резко спросил Леппих-Лепихин. В его речи тотчас появился акцент.

Фальковский переводил дыхание, на щеках проступил темный румянец.

— Что мне угодно?.. Мне угодно напомнить поручику, что время его визита кончается. Он, кажется, обещал графу быть с ним на ужине?

Холодный взгляд, насколько это было возможно, выражал беспокойство. Он, видимо, еще не опомнился от скачки, но, во

---

<sup>1</sup> В чем дело? (франц.)

всяком случае, оказался здесь не утром, как рассчитывал Лепихин, а спустя два часа и тем самым доказывал, что провести его не так-то просто.

— А куда же вы пропали? — насмешливо спросил Лепихин. — *Quel dommage!*<sup>1</sup> Мы и обедали без вас.

— О! — сказал Фальковский, усмешка тронула его губы. — На вас новый костюм.

— Мой костюм? — спросил Лепихин. — На мне? Он не новый. Этот сюртук я сшил прошлым летом.

— Я имею в виду новый мундир поручика, — сказал Фальковский. — Его приняли в гусары?

— *Quoi donc?*<sup>2</sup> — Лепихин повернулся ко мне и стал разглядывать, будто видел впервые. — О каком новом костюме речь? Разве не в нем вы приехали? Или я схожу с ума?

— Вы можете шутить до поры до времени, — спокойно сказал Фальковский и повернулся ко мне: — Зачем вы загнали дрожжи в соседнюю деревню?

— Дрожжи? — Я сделал изумленный вид. — Клянусь, я не выходил из усадьбы.

— Подтверждаю! — сказал Лепихин. — С тех пор, как вы куда-то умчались, поручик все время на моих глазах.

— Мсье Леппих, — сказал Фальковский, — ваши странности мне известны. Но зачем вмешиваться в дела, которые вас не касаются? Поручик Берестов находится под условным арестом, заявляю это от имени графа Ростопчина. Для какой цели вы укрываете его у себя и даете другую одежду?

— Вы с ума сошли! — сказал Лепихин.

— Сомневаюсь, — сказал Фальковский. — Признаться, мы надеялись, что вы поможете прояснить личность этого человека. Из частного письма мы узнали, что вы знакомы. Но оказалось, у вас чуть ли не сговор.

— Два человека пообедали вместе, у вас уж и сговор, — проворчал Лепихин. Он явно смеялся над Фальковским. — А что надо прояснить?

— Я теперь не имею желания продолжать этот разговор, — сухо сказал Фальковский. — Вас, как я вижу, связывает гораздо больше, чем я ожидал. Я только хочу предложить поручику вернуться в Москву. Что касается вас, мсье Леппих, я буду просить полномочий на более серьезный разговор с вами.

---

<sup>1</sup> Какая жалость! (франц.)

<sup>2</sup> Что такое? (франц.)

— Забываетесь! — крикнул Лепихин. — Кто вы и кто я? Que diable vous emporte!<sup>1</sup> Я императору напишу! Вы мне мешаете работать! Я занят спасением отечества!

— Еще не известно, чем вы заняты, — мрачно сказал Фальковский. — Поручик, я жду вас внизу через две минуты.

Он вышел.

— Каналья! — дрожа от злости, сказал Лепихин. — Он что-то пронюхал. Я уже замечал, что в моих чертежах и записках копались. Послушайте, Берестов, плюньте на эту ищейку! Давайте я выведу вас черным ходом и через сад... Ах, нет, там наверняка солдаты...

— А Наташа, — начал было я, — та девушка...

Он приложил палец к губам и показал на дверь.

— Ничего не знаю! — сказал он громко. — Что касается девушки, увы, не моя область. — При этом он быстро черкнул на столе записку и сунул мне в карман доломана.

— Ну, прощайте, — сказал он, пожимая руку, — жалко, что капитан лишил меня приятного общества.

Он проводил меня до двери и жарко шепнул в самое ухо:

— Вы мне нужны! Не потеряйте записку.

Фальковский ждал меня у дрожек. Румянец сошел с его щек, лицо приняло прежнее насмешливое выражение.

— Капитан, — сказал я, — вы не боитесь, что я могу стукнуть вас чем-нибудь по голове и укатить бог весть куда в этой таратайке?

— Второе вы уже пытались совершить, — довольно любезным тоном сказал Фальковский.

— Ошибка! — сказал я. — Ваша первая ошибка! Я никуда не уезжал.

— В таком случае кто же уехал?

«Э, — подумал я, — не раскусил ты еще Лепихина, раз и думать не можешь, что он способен на такие штуки».

— Мой двойник, — сказал я серьезным тоном. — Двойник мой уехал. Я вас предупреждал, что способен на всякое, в том числе и на раздвоение... А все-таки? Вдруг на самом деле сбегу?..

Он промолчал.

Золотистое небо сгущалось над Россией. Нежно-оранжевым светом наливался вечерний горизонт. Дрожки катили, покачиваясь.

---

<sup>1</sup> Черт вас поberi! (франц.)

До самой Москвы Фальковский молчал. Я тоже не разговаривал, а только смотрел по сторонам. Впервые я обратил внимание на солдата, который сидел на козлах. Он как-то особенно сутулился. Надвинутая на самые брови каска и большие черные усы придавали ему торжественно-мрачный вид.

— Поедешь на Пречистенку к дому Долгорукова,— сказал Фальковский.

Солдат не ответил.

— Ты слышал меня, Федор? — спросил Фальковский.

— Так точно,— глухо ответил тот, не повернув головы.

Мы снова проехали Каменный мост. Теперь я увидел Кремль на фоне густо-желтого закатного неба. Его стены и башни казались легкими, чуть ли не прозрачными с неожиданным то голубым, то розовым оттенком, а зелень холмов и подступившей к стене насыпи темно-изумрудной, как на раскрашенном лубке.

Иван Великий, вытянув лебединую шею, врезался в темнеющий небосвод одиноким перстом. Яркими золотыми точками горели орлы на башнях.

Справа проплыл дом Пашкова. За черной витой оградой неровным пульсом вздрагивал фонтан, и одинокий павлин с длинным волочащимся хвостом неподвижно стоял на взгорье пашковского сада, не то задумавшись, не то разглядывая панораму Кремля и Замоскворечья.

Волхонка была пуста. Мелькнул собор, косым рядом пошли деревянные дома. Мы проехали грязный ручей и круто взяли вверх по Пречистенке.

Внезапно я сказал:

— Остановите.

— Что? — спросил Фальковский.

Солдат натянул вожжи.

— Мне нужно повидать знакомого. Ведь я под условным арестом, не так ли? И могу еще пользоваться кое-какой свободой?

Мы стояли перед домом Листова. Крыша его виднелась за углом переулка.

— Хорошо,— сказал Фальковский.

Мы въехали во двор. Ворота распахнуты, никто не вышел навстречу. Я выпрыгнул из дрожек и пошел к дому.

Уж если Ростопчин знает про Листова, то скрывать нечего. Терять Листова из виду я не хотел. А кто знает, как развернутся события дальше, куда завезут меня дрожки Фальковского.

Я вошел на крыльцо. Вдруг кто-то вскрикнул за моей спиной. Вскрапнули кони, взвизгнули колеса. Я обернулся и успел увидеть выезжающие, точнее, выпрыгивающие из ворот дрожки и лежащего на их спинке навзничь, лицом ко мне, с раскинутыми руками Фальковского.

Черная треуголка осталась лежать на земле.

Я постоял, ожидая продолжения внезапного происшествия. Потом вышел за ворота, оглядел переулок. Никого. Странно. Что произошло? Я поднял треуголку и обошел дом. И здесь никого.

— Никодимыч! — крикнул я во дворе. — Никодимыч!

Где-то залаяла собака, другая ответила, и собачья переключка огласила пречистенские дворы.

Что случилось с Фальковским? Почему так стремительно умчался экипаж? Уж не хватил ли его какой-нибудь удар? А этот солдат, Федор? Я даже не заметил, был ли он на козлах.

Я достал записку Лепихина и в сумеречном свете догорающего заката разобрал:

«Завтра не позже восьми утра у Красных ворот Зачатьевского монастыря, что на Остоженке».

Я задумался. Куда теперь? Ждать Листова? Куда запропастился Никодимыч? Листов, должно быть, ищет свою невесту. Я также не исключал, что его задерживает Ростопчин. Пожалуй, нужно побродить по Москве, а потом вернуться. Но в какую отправиться сторону?

Я пошел вверх по Пречистенке... Кропоткинская! Я тебя не узнавал, но внутренним чутьем понимал, что это ты, моя улица. Я знал, что ты сгорела, сгоришь этим яростным летом двенадцатого года, а потом отстроишься заново, и я полюблю твои разновысокие особняки, твои переулки и спокойные закаты над тобой.

Ни одного дома! Ни одного дома из тех, что будут стоять потом, но все-таки это ты, без сомнения. Быть может, у каждой улицы с рождения есть душа, а дома — только одежда, которую можно сменить?

В некоторых окнах уже выставлены свечи, но их слабый огонь еще не тревожит коричневатого сумрака. Вдали над



подъездом какого-то особняка горят масляные фонари, там видно движение.

Я подошел. Длинный двухэтажный дом с арками и колоннами. Неярко горят высокие полукруглые окна.

Внезапно я остановился. Не может быть! Дом возле Академии! Неужели? У Академии художеств, что на Кропоткинской! Вот галереи с обеих сторон, ажурные балконы. Вот ниши и арки, только сквозные. Потом их, видно, заделали, остались одни профили. Да, это он! Его стройная осанка, его многоколонный фасад. Так он сохранится?..

У этого дома, у Академии художеств, на той далекой во времени Кропоткинской мы часто встречались с Наташей. Она жила в двух шагах отсюда. В двух шагах, в полутора веках жила от меня Наташа...

Вот я перебегаю улицу. Она стоит, прислонившись к стене, с раскрытой книгой. Я бегу, перебегаю улицу, машина проскальзывает мимо. Из-под упавшей на глаза пряди она быстрым взглядом ловит меня, откинувшегося от машины...

Я подхожу. Она закрывает книгу. Видно, и не читала ее,

а так, просто держала, чтобы не выглядеть праздной на этой бегущей полуденной улице.

— Опаздываешь? — говорит она. — Никогда не приходишь вовремя.

Она торопливо сует книгу в сумку, встряхивает головой, откидывая со лба веер выгоревших волос, и все ее загорелое лицо оживленно волнуется.

Мы беремся за руки и переходим улицу. Опять набегает машина. Наташа держит меня, не отпуская, хотя проскочить еще можно. Я стою недовольный. А она говорит с укором:

— Всегда ты бежишь под машины.

— Но я не бегу под машины!

— Ты так перебегал улицу, что у меня сердце упало.

— Вот чепуха! — Я сержусь.

Она все-таки держит меня, пока не проедет последняя, самая дальняя машина.

Мы наконец переходим, и вдруг на мгновение я ощущаю себя хрупким, быть может, дорогим сосудом, который вот так осторожно и тихо несет чья-то бережная рука. Странное, щемящее чувство...

Стою зачарованный воспоминанием. В ладони возрождается ощущение ее руки, маленькой, теплой, обладающей магнетической силой. Неужели все это было? Июльский полдень, горячий мягкий асфальт, машины, скользящие мимо с липким шорохом, ее рука в моей и мерный гул огромного города...

Теперь тишина. Я смотрел на скромные огни масляных фонарей и думал о некой связи, быть может, единстве двух моих судеб, в каждой из которых лицо девушки, и лицо этого дома, и множество других смутно знакомых лиц, и, наконец, этот город, эта земля и небо — все близкое и знакомое, хотя и не узнанное еще до конца...

У подъезда стояло несколько экипажей, двери распахнуты. Подкатила еще коляска, вышли два офицера. Один сказал довольно громко:

— У князя такой балкон вместо челюсти, что непонятно, зачем ему балконы на особняке.

Другой хохотнул, и они скрылись в подъезде.

Стало быть, это и есть дом Долгорукова по прозвищу «балкон»? Впрочем, я мог бы догадаться и раньше. Фальковский приказал ехать на Пречистенку, но только у одного дома на улице чувствовалось оживление. Значит, ужин здесь. И здесь поджидает меня Ростопчин.

Я не собирался прятаться. Эмалевый медальон и воспоминания влекли меня в дом на Пречистенке.

У дверей встретил лакей в темно-красной ливрее с золотым позументом.

— Пожалуйста,— сказал он глухим басом.

— Много народу? — спросил я, снимая фуражку.

— Какой там.— Он принял фуражку.— Тихий бал-с. Господ сорок от силы-с.

— А граф Ростопчин?

— Еще не прибыли, но ожидают-с.

Я отстегнул ташку и постоял перед огромным зеркалом. Снимают ли ментик? Судя по спокойствию лакея, который уже занял свой стульчик, нет. Я оглядел себя. Черный в красных шнурах доломан, алая подкладка ментика, серебряные эпoletы. Лицо усталое, сапоги пыльные.

Я хотел попросить щетку, но швейцар уже застыл в полудреме. Вздрагивали седые баки.

Потоптавшись немного, я стал подниматься по лестнице, выложенной зеленым ковром. Освещение скудное. Всего по одной свече в деревянных тройниках, редко повешенных на стене. В нишах притаились статуи.

Я шел, придумывая, как представиться, и зная, что в домах «допожарной» Москвы гостей принимали без церемоний, даже незнакомых. Военного мундира для рекомендации было достаточно.

Но «прием» превзошел мои ожидания. На меня попросту не обращали внимания. Я прошел несколько едва освещенных комнат. На диванах курили длинные трубки, распевали песни. Пробежала горничная в зеленом переднике с большим фарфоровым чайником на подносе. Проковылял маленький старичок в белых чулках. Он вскинул голову и уничтожающе посмотрел на меня. Я поклонился. Быть может, хозяин? Тогда в полутьме я не разглядел его знаменитой челюсти.

Наконец я попал в залу. Здесь посветлей. Оранжевые шторы, портреты на мраморных стенах, скользкий мозаичный пол, в глубине сцена для музыкантов. Две люстры озаряли гроздьями свеч.

Горстками стояли несколько человек, все больше пожилые. В одном углу бело-розовым букетом собрались дамы. Там смеялись.

Я сделал несколько шагов, туда, сюда. На меня покосились, но разговор продолжался.



— Да-с! — говорил кто-то в темном сюртуке. — Только постное! Когда отечество горит, сладости в рот не лезут!

— Да бросьте вы, батюшка, — отмахнулся другой. — Горит, горит! Не в кухне же у вас подгорает, ешьте себе на здоровье.

— Бахметев обед с семи до пяти блуд убавил.

— Лучше бы ополченцев нарядил.

— Если Москву оставлять, дом свой подожгу, знайте! — громче всех говорил «темный сюртук».

— Да откуда вы, батюшка, такой патриот взялись?

— Я не успокоюсь, пока не искупаюсь в крови французов! — распалялся «сюртук».

От бело-розового букета отделился офицер в белом кавалергардском мундире и быстро пошел ко мне.

— Да! — сказал он. — Вы здесь! Наверное, графа ждете?

Я узнал адъютанта Ростопчина. Только выглядел он сейчас веселым и юным, не то что в приемной. Он разглядывал меня с легким удивлением и как бы удовольствием.

— Да вы, оказывается, гусар! Какого полка, не пойму?

— Особого, — сказал я с шутиливой серьезностью. — Даже не спрашивайте.

— Вы правы, столько полков сейчас новых, я уж запутался. Пойдемте, познакомлю *avec des dames charmantes*<sup>1</sup>. Ведь вы из армии, им будет приятно. Пойдите, я прежде вам расскажу. Вот эта справа — Анетте Трубецкая, весьма хорошенькая, но у нее жених, этот болван Сибеев, не слышали? Вон та в розовом платье — Катрин Пушкина, миленькая, но дурочка. А вон та, Софи Нелединскую, вам очень советую. Эти? Ну, с ними разговор короткий. Лепешки. Так их все и зовут — княжны-лепешки. Это за то, что целыми вечерами они у себя в окнах торчат, прохожих разглядывают...

Он быстро и доверительно описывал достоинства и недостатки знакомых дам, а я только мог заключить, что Ростопчин не посвятил его в свои замыслы. Больше того, адъютант, видимо, считал, что граф проявил ко мне особое расположение. Иначе почему он так охотно взялся за мою опеку?

— Это лучшее, что осталось, — говорил адъютант. — Так сказать *fine fleur*<sup>2</sup> нашего оскудевшего света. Остальные давно разъехались. Ах, если бы вы застали княжну Масальскую!

---

<sup>1</sup> С прекрасными дамами (франц.).

<sup>2</sup> Сливки (франц.).

Увы, опустела Москва. Ну, пойдемте, пойдемте. Да вы не стесняйтесь, там все молодые. По-французски старайтесь не говорить, у нас штраф...

Мы подошли.

— Поручик Берестов, рыцарь легкой кавалерии! — провозгласил адъютант. — Между прочим, особого полка!

— Какого же? — спросила темноволосая девушка в розовом платье туникой.

— Прекрасный кавалергард преувеличивает, — отшутился я.

— Какой он кавалергард, он просто Ванечка, — сказала девушка с пышными рукавами, похожими на белые шары.

— Да, да, зовите меня простой Ванечкой, — согласился адъютант. — Так удобнее. — Ему, видно, нравилось это фамильярное и вместе с тем семейное обращение. — А вас, кстати, как величать?

— Александр.

— Bravo! — сказала темноволосая. — Вы наш Македонский. Скажите, Македонский, скоро вы побьете французов?

— Достаточно скоро, — ответил я.

— Нет, правда, как дела в армии?

— А почему вы без сабли?

— Как Кутузов?

— Что говорят про Барклая?

— Когда будет сражение?

— Уезжать из Москвы или оставаться?

Вопросы посыпались градом. Подошли еще два офицера и студент в синей тужурке с малиновым воротником. Начался беспорядочный спор. Кто обвинял в неудачах Барклая, кто Беннигсена, кто уверял, что французы несокрушимы, кто предсказывал народный бунт.

— Мы собираем женский легион! — кричала темноволосая девушка в тунике. — Софи, Катрин и я вступаем! У меня даже каска есть!

— Вот вы из армии, а ничего толком не говорите, — укоряла меня другая.

— Да я так, второе лицо, — ответил я.

— Как второе?

— Старшим со мной другой офицер.

— Какой офицер, где он, как его звать?

— Ротмистр Листов.

— Это какой Листов? Который с Лашковым стрелялся?

— Не знаю,— сказал я.

— Как же не знаете? Ведь он с Лашковым стрелялся из-за крепостной!

— Вот уж и крепостной! — возразила черноволосая. — Откуда ты знаешь?

— Он ему ухо отстрелил! — сказала другая.

— Я бы и в лоб не пожалел,— вставил офицер в форме улана.

Общество оживилось.

— Постойте, постойте! — вмешался сияющий Ванечка. — Поручик, вы что же, не слышали про Листова?

— Да, в общем... — сказал я.

— Ах, какая романтическая история! — воскликнула черноволосая.

— Он в крепостную влюбился!

— Так уж и крепостную! Откуда ты знаешь?

— Все говорят!

— Они бумаги подделали!

Поднялся гомон.

— Постойте, постойте! — кричал Ванечка. — Поручик, я расскажу! Я знаю наперное! Мне Хлудов в точности описал, он секундантом был на дуэли. Значит, так, с чего там началось?

— Он увидел ее в Воспитательном доме,— подсказал кто-то.

— Ага! Значит, так, поручик. Лашков-старший, это толстое брюхо, едет на спектакль в Воспитательный дом, видит там очаровательное видение и возгорается мыслью добыть его в свой домашний театр, так сказать, пригреть сироту.

— Знаем мы его домашний театр! — сказала черноволосая. — Одни наложницы, как только Москва его терпит.

— Ну вот,— продолжал Ванечка. — Стало быть, начинает выпрашивать девушку у директора Тутолмина. А только и всего требуется, что ее согласие. А она согласия не дает! Тут и молодой Лашков на девушку польстился. Как, бишь, ее звать? Кто помнит?

— Настасья! Катерина! Наталья!

— Неважно. Долго ли, коротко, Лашковы вдруг предъявляют Тутолмину бумаги, по которым следует, что девушка эта дочь их крепостной, бежавшей с каким-то там... я уж не знаю. Словом, забирают ее силой из Воспитательного дома, обхаживать начинают, а она упрямится.

— Я точно знаю, что они бумаги подделали! — сказала девушка в платье с шарами.

— А тут и Листов ввязался,— сказал Ванечка.— С Лашковым он был в приятелях и знал всю историю. За девушку стал вступаться...

— Влюбился!

— Потом дуэль с Лашковым, а после девушка исчезает.

— Он ее увез!

— Но куда? Что ему с ней делать? Не жениться же?

— А пусть бы и женился. Шереметев женился на своей крепостной.

— Но у той воспитание! Она по-французски говорит и какая актриса!

— У этой тоже воспитание! Я видела, у нее статья, как у дворянки! Если сирота, это не значит, что из простых. Мало ли всяких историй на свете!

— Господа, господа! — кричал Ванечка.— Хватит об этом! Будут у нас танцы, наконец?

— Старик объявил «тихий бал»,— сказал улан.

— Разве они дадут повеселиться! — Черноволосая посмотрела на шуршащих разговором стариков.

— Им только черепашьи супы есть да в «бостон» играть!

— А я люблю «тихий бал». Не то что в Благородном собрании, где свечи от духоты гаснут.

— Помните, как у Небольсиной на именинах Ростопчин прислал громадный торт? Его раскрыли, а оттуда вышел карлик с незабудками!

Подошел лакей с большим подносом, уставленным запотевшими бокалами.

— Венгерское. Пожалуйста-с.

— А ананасы?

— Ананасов нет по случаю войны-с,— ответил лакей.

— У Апраксиных были вчера ананасы!

— Не могу знать-с,— твердо ответил лакей.— Холодный рябчик, кулебяка, фрукты и мороженое пожалуйста. В обеденной.

— Кулебяка? Фи!

— Господа! — сказал Ванечка.— Я предлагаю собрать по комнатам молодежь. Салтыков, Мамонов и Гагарин здесь.

— Вяземский,— добавил кто-то.

— Копьев, Арсеньева, Павлова...

— Вот-вот! — сказал Ванечка.— Я предлагаю собрать всех

в зеленую гостиную и сыграть фанты! Дамы и господа! В кои-то веки собрались! Может, последний вечер в Москве! Завтра многие уезжают в армию.

— Фанты, фанты! — закричали все.

Мы взяли в руки по свечке и пошли по комнатам с криком:

— Фанты, фанты! Последний раз фанты в городе Москве!

— А вон и наш граф, — сказал мне адъютант. — Вы подойдете к нему?

— Пожалуй.

— А я исчезаю. Ждем вас в зеленой гостиной. Туда и ужин подадут.

— Фанты, фанты! — закричал он тут же, убегая за остальными. — Последний раз фанты в городе Москве!

### 3

Ростопчин был в том же сюртуке с генеральскими эполетами, только галстук сменил на более светлый. Он первый увидел меня и сразу подошел, бросив разговор с кем-то из гостей.

— О! — сказал он. — Не ожидал так рано. — Он скользнул взглядом по моему гусарскому мундиру, но ничего не сказал. — Как съездили? Застали свою модель? — Глаза его искали Фальковского.

— Увы, не застал, — ответил я. — А капитана нет, могу предложить только его треуголку.

Я коротко рассказал о происшествии у дома Листовых.

— Но это странно, — сказал Ростопчин. — В чем же дело?

— Не знаю. Но, может быть, вот в чем. По дороге я спросил Фальковского, не опасается ли он, что я ударю его и сбегу.

— Вот как? — Ростопчин вскинул брови.

— Боюсь, моя угроза обернулась не шуткой. Похоже, его действительно кто-то ударил.

— Но кто?

Я пожал плечами.

— Ведь я намекал вам, что я человек не простой. Кое-какие, даже шутливые мои предсказания могут сбываться. Особенно если дело касается меня и моей личной свободы. Ведь Фальковский уверял, что я под арестом, хоть и условным.

— Ну! — Ростопчин взмахнул рукой. — Это он перестарался. Послушайте, давайте-ка сядем на тот диванчик.

Мы отошли в глубь зала.

— Дорогой мой,— заговорил Ростопчин.— Я ведь и сам понял, что вы человек не простой. Утром я только почувствовал это, но вот прошел день, и я уверен. Я сопоставил факты и решил, что обыкновенный человек вряд ли мог знать все, что вы мне рассказали. Дешу от Кутузова я получил именно с полковником Федоровым и как раз в то время, как вы сказали. И Платов заезжал, необыкновенное дело, что он в Москве. Что же касается Фальковского, то я вызвал его только потому, что не хотел терять вас из виду.

Он взял меня за руку.

— Фальковский мой лучший офицер. Я считал его способным раскрыть любое дело. Вашей странной биографией занимался он. Как только я почувствовал за вами силу, сразу решил звать Фальковского. Я сказал себе: пусть они сойдутся. Кто кого, понимаете? Я откровенно вам говорю, откровенно. У Фальковского мертвая хватка, другой бы от него не ушел. Так вот я подумал, если вам удастся вырваться, то вы станете важным для меня человеком.

— Что значит важным человеком? В каком смысле?

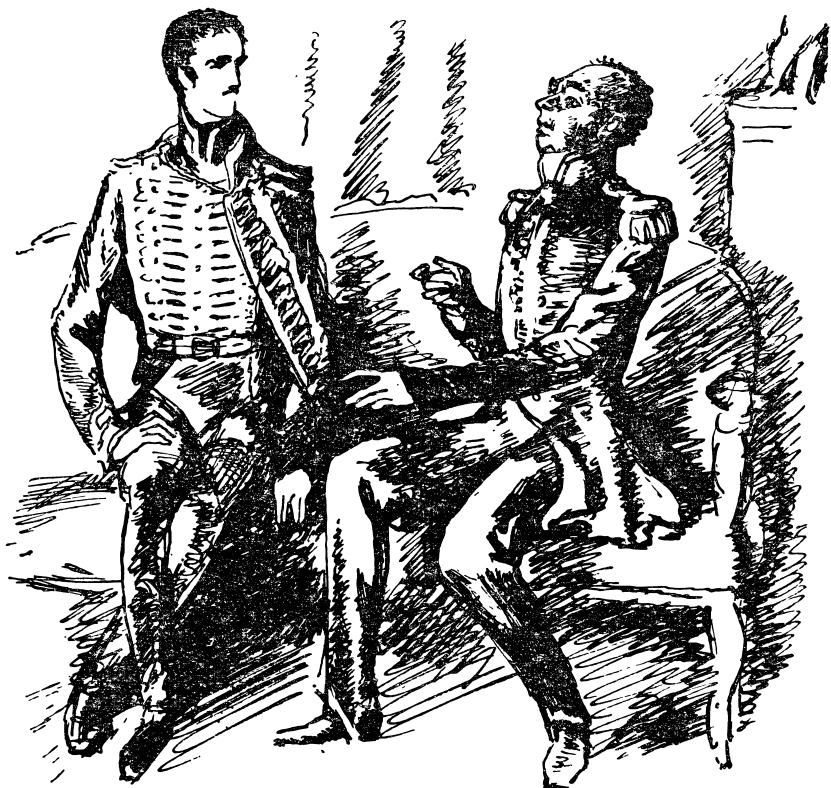
— Ах, это не просто растолковать.

— Но я бы мог легко исчезнуть.

— Но вы не исчезли! Вы передо мной, значит, я вам нужен. Бог с ним, с Фальковским. Быть может, вы его отправили на тот свет, но я вам прощаю. Послушайте, с кем, как не со мной, вы развернете свои способности? И с кем, как не с вами, я сумею добиться своего! Я как в пустыне, милый, как в пустыне! Мне не на кого опереться.

Глаза его горели, на щеках появился румянец.

— Смотрите, вон перед вами цвет государства, хилые старцы, способные только шушукаться между собой. Вон тот — губернатор Обрезков, он только в карты играет и спит. Рядом вице-губернатор Арсеньев по прозвищу «тесто», отпетый пьяница. Вон генерал-полицмейстер Ивашкин, нюня и трус, под каблуком у жены, какой из него полицейский? Предводитель дворянства дурак и обжора, архиепископ простой бабник. А прочие, прочие! Вон Трубецкой-пустослов, его не иначе как «тарара» кличут. Вон «алмазное видение» Голицын, ему только бы бриллианты носить. Вон «зефир» Раевский, его ветер, как бумагу, носит... Ах, батенька! У меня триста полицейских офицеров в Москве, из них стоящий один Фальковский. В Петербурге то же самое, а по всей России еще хуже!



— Чего же вы хотите? — спросил я.

— Чего я хочу? Ах, дорогой... Для себя ничего, равным счетом ничего! Я хочу сильной России, России, которая свернет шею этому Бонапарту!

— Но и другие того же хотят. Разве государь...

— Он слишком мягок,— перебил меня Ростопчин.— Он слишком добр.

— Но, может быть, народ одолеет французов?

— Народ? Это будет ужасно. Народ — это бунт. Топоры, вилы, косы. Мы все будем болтаться в петле вместе с Бонапартом.

— Уж не хотите ли вы сами оказаться победителем?

— А почему бы и нет? — Ростопчин пожал плечами.— Пре-

вратить Москву в цитадель, встать во главе народного гнева.

— Вы же сами боитесь бунта.

— Бунт — это стихия. Если взять его в руки — это уже народная война.

— И вы во главе?

— А почему бы и нет? — Ростопчин снова пожал плечами. — Опрокинуть неприятеля, гнать за границу, освободить Европу. Разве плохие помыслы?

— А как посмотрит на это государь?

— Он будет аплодировать мне из Петербурга.

Шутит он или говорит серьезно, трудно было понять. Или он прекрасный актер или действительно сумасшедший.

— Чем же я могу вам помочь? — спросил я.

— Не вы один. Вы станете членом моего легиона. Одно ваше появление указывает, что такие люди есть. Я разыщу их и создам когорту стремительных и неотразимых. Они сметут передо мной все преграды! Дорогой мой, — он заговорил торпливо, — у меня есть кое-кто на примете, но это так, кулаки, а мне нужно умов.

— Вы полагаете, я соглашусь?

— Подумайте. Вы человек без биографии, без прошлого. Вы странствующий талант, созданный для действия и пропадающий втуне. Со мной вы обретете цель и свернете горы. Таких много, но они рассеяны по свету. Я найду и соберу их, я дам им девиз: *per aspera ad astra* — через тернии к звездам!

«Это похоже на заговор», — подумал я и сказал:

— Ваши слова можно понять как приглашение на службу?

— Не службу, дорогой мой! Приглашение к сотовариществу!

— Отвечать надо сейчас?

— Подумайте, но я не сомневаюсь, что вы согласитесь.

— А если нет?

— Не говорите так, не говорите. Вы первый человек, подходящий для легиона, о котором давно мечтаю.

— А штабс-капитан Фальковский?

— Что вы все о Фальковском! Сначала пусть он объявится.

— Я все еще под условным арестом?

— Какая чепуха! Вы вольны, но вы придете ко мне, я знаю!

Или ты приставишь ко мне агента, подумал я. Скорее всего так и будет. И несдобровать мне, если стану уклоняться от продолжения разговора.

— Простите, — сказал Ростопчин. — Наша беседа уже ин-



тригует столпов общества. Я вас покидаю, но жду с надеждой. В любое время в моем особняке.

— Если все это не шутки,— сказал я.

— А хоть бы и шутки.— Ростопчин улыбнулся и вскинул брови.— Отчего же не пошутить с замечательным человеком? Но я вас жду, как условились. Там уж серьезно поговорим.

Он отошел. На нас действительно уже поглядывали. Я направился к выходу.

Маленькая собачонка белым комом влетела в зал и понеслась с лаем кругами. Никто не обращал на нее внимания. Собачка подскочила к лакею, который стоял около стариков с подносом, запрыгала, завертелась, запуталась у него в ногах.

Поднос в руках лакея дрогнул, звякнули и сдвинулись бокалы.

— Что это ты трясешься, любезный? — строго сказал один из «столпов».

— Да уж Фиделька больно кусает, ваше сиятельство.

Белый пушистый Фиделька хватал лакея за ноги в своей собачьей игре, взвизгивал, грозно рычал.

— Эка невидаль — Фиделька кусает! — сказал «столп». — У меня полк под ядрами смирно стоял, а ты собачонки трясешься.

— Виноват-с,— сказал лакей с несчастным, дергающимся лицом.

Фиделька с рычанием, уже остервенело рвал его белые чулки.

Я вышел из зала и чуть не столкнулся с девушкой, со смехом бежавшей из боковой комнаты. За ней, поскользнувшись на паркете, выскочил юноша. Он еле удержался на ногах, тряхнул рыжеватой растрепанной головой, блеснул очками, улыбнулся и побежал дальше, оставив впечатление чего-то знакомого.

В зеленой гостиной стояли хохот и крик.

— Это фант Вяземского! Где Вяземский?

— Вяземский исчез!

— Он с Жюли, у них давно вышел фант целоваться!

— Целоваться! У него жена в Калуге!

— А это Александр Македонский! — закричали на меня.

— Македонский, хотите вина?

— Так где же ваш меч?

— Давайте ему фант!

— Надоело в фанты! Никто не исполняет!

Разгоряченные лица, улыбки, смех. Атмосфера бесшабашного, чуть ли не лихорадочного веселья. Всегда ли у них так?

— Друзья! — закричал адъютант Ванечка. — Давайте играть в скромные желания!

— Это как? Объясните!

— Вы называете скромное желание, пишете на фантах. Потом мешаем и тащим фанты. Кто вытащил свое желание, тому сбудется. Кто нет, записывает снова свое желание рядом с другим, опять мешаем и тащим!

— А потом?

— Сначала надо записать желания! У кого карандаш?

— У Салтыкова почерк хороший, пускай записывает!

— А желание обязательно скромное?

— Какое угодно, только лучше пишите скромное, а то никогда не сбудется!

— Налейте Македонскому вина, штрафную!

Меня заставили выпить большой бокал крепкого сладкого вина. Голова пошла кругом.

— Кто там первый? Начинаем! Ванечка, твое желание! Говори быстрее!

— Мое скромное желание стать флигель-адъютантом, — сказал Ванечка.

— Неплохо! Куда хватил! — закричали все.

— Записываю. Следующий!

— Мое скромное желание дожить до ста лет, — сказал улан.

— И это недурно. Дальше.

— Мое скромное желание получить Георгия, — сказал приятель улана.

— А Андрея Первозванного не хочешь?

— Что скажет воспитанник альма матер?

Студент слегка покраснел:

— Да что ж, мне бы хоть доучиться.

— Вот это скромно! — закричали все. — Это уж скромно!

— А у тебя, Анетте?

— Пусть Миша мой вернется с войны с руками и ногами.

— Сибает? Да у него такие ручищи, такие ножищи, что никакое ядро не отшибет! Что ж тут загадывать? Остальные говорите!

— Мне бы теткинo наследство получить!

— Мне в картах удачи!

— У меня секретное! Сама напишу!



— А у меня нету желаний, ей-богу нету! Только нескромные!

— Да подождите вы! Не успеваю писать!

Поднялся гомон. Что-то неладное творилось у меня с головой. Я вышел в соседнюю комнату и прилег на диван. Неужели от вина? Вместе с каким-то скольжением пространства голова была ясна, но странно ясна. Сознание тянуло не то в даль, не то в полудрему.

Шум, смех за стеной. Внезапно внутреннее зрение как бы

раздвинулось, все стихло, и передо мной появился адъютант Ванечка. Он был в том же мундире, но с серьезным, осунувшимся лицом.

— Мне не удастся стать флигель-адъютантом,— сказал он.

— Почему? — спросил я, не разжимая губ.

— Я буду убит через три дня в Бородинском бою. Сначала пуля попадет вот сюда,— он показал на плечо,— а потом картечью в грудь. Меня даже не подберут. Три дня осталось жить.

За ним появились улан со своим приятелем.

— Мне оторвет ногу,— сказал улан,— и я буду жить еще несколько лет на иждивении своей сестры воспоминаниями о двенадцатом годе.

— А он,— улан показал на приятеля,— он получил бы Георгия, ну, может, не Георгия, так Владимира. Ведь он отобьет знамя у дивизии Компана, но когда пойдет с этим знаменем на батарею, пуля догонит прямо в затылок. Наповал.

— Да ты не печалься, Алеша.— Он повернулся к приятелю.— Думаешь, доживать, как я, лучше?

— Я не печалюсь,— сказал приятель.— Мать только жалко.

Возник студент с малиновым воротником.

— А он всего только хотел доучиться,— сказал улан.— И то не выйдет. Легкое будет прострелено. Только и станет, что болеть да кашлять. Высохнет совсем... Тебя-то зачем в Бородино потянуло? — спросил он студента.

— Многие из университета пошли,— ответил тот, снова краснея.— Мы раненых выносили.

— Учились бы лучше, чем воевать,— буркнул улан.

— А остальные? — спросил я.

— Что остальные! Вот Анетте загадала, чтоб Миша Сибеев вернулся неискалеченный. Так его уж и на свете нет. Он вчера в арьергардном бою под саблю попал. Только известие еще не дошло... Кому-то, может, и повезет. Только, я думаю, во многих семьях этот год метку оставит...

— Берестов! — кричали за стеной.— Македонский! Куда подевался? Один не сказал скромного желанья!

Я вскочил с мокрым холодным лбом. Что это было? Галлюцинация или прозрение?

— Македонский! — кричали из гостиной.— Идите сюда, хватит спать!

Я вошел. Такое же веселье и смех. Адъютант Ванечка картинно отставил руку с бокалом.

— Ваше скромное желание, поручик!

«Ему осталось жить три дня,— стремительно пронеслось в голове.— И тому, и этому тоже».

— Так что же, какое у вас желание?

— Мое скромное желание,— сказал я,— увидеть всех вас еще раз в добром здравии и хорошем настроении.

— Браво! — закричали они.— Самое скромное!

Я вышел из дома. Какая драма, какая драма надвигается на страну!

## 4

Я несколько раз споткнулся в темноте. Сколько сейчас времени, часов десять-одиннадцать? Всего два-три фонаря тускло освещали Пречистенку. У одного я чуть не столкнулся с вынырнувшим из темноты человеком. Он коротко взглянул на меня и, пряча лицо, боком прошел дальше.

Но я узнал его. Черные усы, насупленные брови.

— Федор! — окликнул я.— Федор!

Это был тот солдат, который правил дрожками Фальковского. Он не остановился, а только ускорил шаг. Я догнал его.

— Федор! Постой, Федор!

Он застыл, не оборачиваясь.

— Федор,— сказал я,— ведь это ты?

— Так точно,— ответил он глухо.

Зачем догнал его, я и сам не знал. Быть может, в это мгновение показалось, что именно он избавил меня от Фальковского во дворе Листовых. Но сначала я в замешательстве молчал. Он первый начал:

— Не ходите туда, ваше благородие.

— Куда?

— В дом тот. Нехорошо там сейчас.

— Что нехорошо, что? — Я направлялся как раз к дому Листова.

— Я вам сказал, дело ваше.— Он пошел в темноту.

Я снова догнал его:

— Федор, спасибо, раз предупреждаешь... Но в чем дело? Хозяева там?

— Не знаю,— ответил он.— Видали, как я его?

— Кого?

— Штабс-капитана.

— Я ничего не видел.

— Прибил я его маленько.

— Зачем?

— А...— сказал Федор,— все равно жизнь кончена.

— А для чего ты, Федор...

— Для чего, того не добился. Прощайте, ваше благородие.

— Постой, Федор! Вот ты сказал, что мне в дом идти нельзя. Тогда мне идти некуда. Да и тебе, вижу, не сладко. Давай посидим, потолкуем. Может, придумаем что, может, все и устроится.

— Нечего мне придумывать,— сказал Федор.— Бог за меня все придумал. Нету мне милости.

— Федор, да ты постой! Подожди! Расскажи, в чем дело. Что с тобой приключилось?

— Со мной? Да не со мной. Об себе не жалуясь. Сестренку не уберег.

— Погоди. Давай присядем, вон там бревно. Ты Расскажи мне, Федор.

— Чего рассказывать...

Он сел рядом со мной, большой и угрюмый, вздрагивал, запахивал на себе армяк.

— Да ты дрожишь. Заболел?

— Лихорадка чего-то бить с-стала.— Он вытащил из-за пазухи смутно блеснувшее и глотнул, дохнуло сивушным запахом.— Ладно, чего там,— пробормотал он.— Вот так-то она, жизнь...

— Расскажи мне толком. Вдруг можно помочь?

— Э, ваше благородие! Вы не помощник. Вам самому впопру бежать подале. Чего ж у того немца в доме не остались? Хоронились бы дальше... А немец, видать, хороший. Как он в вашем мундире за ворота скакнул. Провел капитана, ей-богу провел!

— Ты это видел?

— А как же. Я у забора сидел. Как вы в сарае спрятались, видел.

— И не сказал?

— Не мое дело. Только радовался, что моему начальнику нос укусили. Только зря вы потом не схоронились, ей-богу, зря.

— А где ж он? Ты его сильно ударил?

— Ударил-то мало. Больше бы надо.

— А за что? Он сестру обидел?

— Обидел...— медленно проговорил Федор.— Эх, ваше благородие! Он в Девятку ее засадил.

— Что за Девятка?

— Девятка-то? Приют на железных запорах, для слабых умом.

— Больница?

— Больница...— Федор мрачно усмехнулся.— Кому больница, а кому хуже тюрьмы. Три раза в день ледяной водой поливают. А Настя у меня слабая. Сказывали, кашляет уже, помрет скоро...

— Да почему ж так вышло? Как она попала туда?

— Спасибо штабс-капитану,— сказал Федор.

— А он-то при чем?

— Приказ, говорит, такой. Всех, кто сказал чего лишнего, в Девяткин приют и ледяной водой поливать. Только она и не скажет, она кроткая. Все из-за шара проклятого!

— Того, что в Воронцове?

— Его. Настя у господ Репниных служила, а когда дом под шар отдали, одна там во флигеле осталась за господским хозяйством. Княжна раза три всего приезжала...

— Постой-постой! Настя, ты говоришь, ее зовут? Не Наташа?

— Наташа — то ее подружка.

— Подружка? Тоже у Репниных служила?

— Э нет, кажись, не у Репниных. Она погостить к Настеньке наезжала.

— Федор, послушай. Да знаешь ли ты, что Наташу за тот же шар схватили?

— Знаю,— сказал Федор.— С ней и Настенька пострадала. Когда штабс-капитан Наташу выспрашивать стал, Настя будто заступилась. Уж не знаю, чего она говорила, только велел он ее увезти. Не знал я тогда еще, что в Девятку.

— Да почему туда?

— Приказ такой,— глухо сказал Федор.

— Может, тебе стоило попросить капитана? Сказать, что Настя тебе сестра. Может, и отпустил бы?

— Да он истукан, идол каменный! Измену кругом видит. Он бы и меня в Сибирь тогда упек.

— Ну и что же ты решил?

— Да ничего не решил. Сначала просто хотел Настю из приюта украсть. Только там охрана, все нашего полка, и меня хорошо знают. Потом капитану думал в ноги повалиться, да

только вспомню глаза его пустые и знаю: зря все это. Так вот и вышло, что вроде как и не по своей воле бухнул его рукоятью и повез на Рогожинское кладбище. Раскольник там есть у меня знакомый, за деньги кого хочешь спрячет. Там связал и говорю: пишите, господин штабс-капитан, бумагу об освобождении Настасьи Гореловой.

— Так он и не знал, что она твоя сестра?

— Тогда и узнал. Пишите, говорю, бумагу. Думал я с той бумагой в приют ехать. Вызвали бы тогда Настю. Там капитана каждая собака страшится. Только не согласился...— Федор ударил себя по колену.— Не согласился, собака такая! Я уж и палаш над ним заносил. Сейчас, говорю, кончать буду, не доводи до греха! А он только вверх глаза уставит и отвечает: «Не могу закон преступить. Не мой приказ, и выпускать дело не мое». Да чтоб ему такую малость сделать? Скажи, ваше благородие? Или почуял, что не стану его прибивать?

— Где он сейчас?

— Все там же, на Рогожинском. Только мне теперь все равно. Он связанный лежит, пусть выпутывается как хочет. Какие-нибудь смертные пройдут, развяжут.

— Что теперь думаешь делать?

— Что делать? Я вот целый вечер у приюта крутился. Думал, силой Настю возьму. Пистолет у меня есть и палаш. Лошадей тут недалёко оставил, у Никольского моста. Переоделся, чтоб свои не узнали. Только опять же — узнают. Что же мне, Горелову, со своими, какие они ни на есть, биться? Да и не одолеть...

— Послушай, Федор, а почему мне к Листову нельзя?

— В тот дом-то? Там сейчас охрана. Я сейчас от приюта шел, решил завернуть, потянуло. Так еще издали услышал голоса Цыбикова и Шестопятова. Это фельдфебели наши. Самые псы цепные.

— А днем там никого не было, даже хозяев.

— Да, видать, служба в харчевню пошла. Цыбиков сивалдай любит. А что охрану кинули, так это им просто. Но ежели бы вас увидели, вцепились бы, как пиявки.

— Да почему ты думаешь, что за мной все гоняются?

— А я не думаю ничего...

Он помолчал, потом заговорил тихо:

— Одна она у меня осталась. Отец, мать померли, пошли мы по России милостыню просить. Дошли до Москвы. Москва, она не пожалеет, слезам сиротским не верит. Как уж тут го-



лодали, не сразу расскажешь. Потом Настю в сиротский дом взяли, а я в подмастерьях руки в кровь обдирал. Дождался, в солдаты пошел, деньги ей посылал... Ингерманландского мы полка, драгунского. Нас тут целый батальон к полиции причислен.

— Сколько тебе лет, Федор?

— А!..— Он махнул рукой.— Видать, последний. Не уберег я Настю.

— Вставай,— сказал я неожиданно.— Пойдем.

— Куда? — пробормотал он.— Куда идти-то?

— Вставай, Федор. Настю твою пойдем выручать!

Он вскочил:

— И то правда, ваше благородие, и то правда! Выручать надо, помрет совсем. Ваше благородие, выручать надо!

— Пойдем, Федор, пойдем! Показывай мне дорогу.

## 5

К домам для душевнобольных Ростопчин питал особое расположение. Это я знал из прочитанного. Он нередко наезжал туда, разговаривал с больными, а при желании мог упечь туда и здорового.

К тюрьмам и ссылке Ростопчин относился пренебрежительно и даже называл это наказание безнравственным. При этом он мог устроить расправу без суда и следствия, как в случае с сыном купца Верещагина, или издать приказ, по которому распускавших неугодные слухи заключали в «долгаузы» — дома и палаты для безумных, как жарким летом двенадцатого года.

Если дело Верещагина современники обсуждали бурно, и никто не мог простить Ростопчину, что он на глазах у толпы приказал драгунам рубить ни в чем не повинного человека, то о распоряжении насчет «долгаузов» я встречал два-три невинных упоминания.

Теперь мне самому предстояло увидеть один из таких «долгаузов», Девяткин приют, или Девятку, как его коротко называли.

Дрожки Федора стояли в конце Остоженки на постоялом дворе. Дело подвигалось к полуночи. Я пока не знал, как действовать, но после разговора с Ростопчиным чувствовал в себе

силу. Кроме того, ночной визит офицера мог оказаться неожиданным.

Мы подъехали. Я сказал Федору, чтоб он дожидался, а сам поднял грохот в тяжелую, железом окованную дверь. Несколько окошек в приземистом здании еще светились.

— По приказу главнокомандующего! — кричал я. — Открывайте!

Высунулся испуганный усатый солдат. Я протиснулся в дверь.

— Где старший? — спросил я. — Все заснули?

— Никак нет, — бормотал солдат. — Господа фельдфебель только изволили уложиться.

— Подними.

— Слушаюсь.

В тусклой каморке охраны горела всего одна свечка. Запыхавшись, застегивая пуговицы, вбежал сонный фельдфебель.

— Его сиятельство генерал-губернатор приказал провести инспекцию, — сказал я хмуро. — Москву очищаем. Что тут у вас, сколько больных?

— Больных так что нет! — отчеканил фельдфебель. — Третьего дня последних на барке в Нижний отправили!

— А чего здесь околачиваетесь?

— Так что приказ! Охраняем, проводим лечение-с!

— Какое лечение? Ты же сказал, что нет больных?

— Больных нет! Однако приболевшие!

— Черт возьми, говори мне толком! Завтра графу докладываю.

— Приказ, ваш-бродие! Не могу знать!

— Черт знает что. Веди меня, показывай. Сколько их... приболевших?

— Двое женского и пять мужского пола.

— И что ты с ними делаешь?

— Приказано поливать холодной водой. Однако вопят, не всегда удается.

— Ладно, показывай. Разгонию вашу богадельню, а вас в полк. Пора службы справлять, нечего на боку валяться.

— Так точно! Только невозможно!

— Что невозможно?

— Показать. Не имею права.

— Как? Разве не ты старший?

— Никак нет.



— А кто же?

— Господин Блохин.

— Что еще за Блохин? Звать сюда.

— Слушаюсь! Никифоров, клички господина Блохина, они еще не почивают.

Никифоров убежал.

— Что же, однако, за Блохин? — спросил я лениво.

— Не могу знать! — гаркнул фельдфебель и вдруг прошептал доверительно: — Вернейший человек их сиятельства грах-

ва. Можно сказать, дружок. Железной руки человек, не смотри, что хилый. Трещалу знали?..

— Ах, да откуда мне знать Блоху, Трещалу... — пробормотал я, как бы задумавшись.

Блохин, Блоха, Трещала... Ужасно знакомо... Откуда бы это? Блоха, Трещала... Вспомнил! Ростопчин и кулачные бои! Среди тогдашних бойцов были две знаменитости, фабричный Трещала, огромного роста детина, который кулаком выбивал изразцы из печи, и мещанин Блохин по прозвищу Блоха, совсем не богатырского сложения, но обладавший каким-то страшным ударом.

Блохин и Трещала никогда не дрались между собой. Считалось все-таки, что Блохин Трещале не пара. Но однажды, играя на бильярде, они поссорились. Трещала легонько стукнул Блоху кием по голове, а тот мгновенным ударом в висок убил Трещалу наповал.

Блохина собирались судить, но спас его Ростопчин. Блохин был любимцем графа, даже учил его кулачным приемам. Что было с Блохиным дальше, неизвестно.

Он стоял передо мной в темно-синей поддевке и сапогах. Невысокого роста, но плотный, с быстрыми глазами. Стоял широко расставив ноги.

— Блохин?

— Он самый.

Он не сказал «так точно», не добавил «ваше благородие» и смотрел на меня скорей небрежно, чем уважительно.

— Меня генерал-губернатор послал провести инспекцию. Говорят, ключи у вас. Покажите мне пациентов.

— Какую инспекцию? — Глаза смотрели твердо. — Я не имею распоряжения допускать к больным.

— Распоряжение?..

Я лихорадочно соображал. Нет, этот орешек твердый, криком его не возьмешь. «Вернейший человек их сиятельства графа. Можно сказать, дружок». Вдруг передо мной возникло лицо Ростопчина и память воспроизвела слова: «У меня есть на примете люди, но это так, первая линия, кулаки, а мне нужно умов... Когорта стремительных и неотразимых... Ваш девиз будет *per aspera ad astra* — через тернии к звездам!»

— Значит, нет распоряжения? — протянул я, все еще обдумывая. — А ну-ка, Блохин, *per aspera ad astra*, неси мне ключи!

Я сказал это в слабой надежде, что пылкий Ростопчин мог

развернуть перед любимцем часть своих планов. Первая линия, «кулаки», ведь это о таких, как Блохин.

Результат оказался неожиданным. Блохин сразу подобрался, даже вытянулся. Он вынул из кармана ключи и сказал:

— Пожалуйте.

Он взял фонарь, и мы пошли по мрачному коридору.

— Семеро здесь у вас?

— Семеро.

— Лекаря остались?

— Нет, лекаря с больными в Нижний отправлены.

— А почему всем занимаются солдаты?

— Приют причислен к военному госпиталю.

— Что вы делаете с этими...— я не мог подобрать слова,— больными, заключенными?

— Купаем в холодной воде.

— Только и всего?

— Вода со льдом из подвалов. Так что ощутительно.

— Граф приказал гнать всех взащей, кроме опасных. Есть здесь опасные?

Блохин пожал плечами.

— Начнем с женщин,— сказал я.

Загремели ключи. Фонарь озарил довольно большую комнату с несколькими топчанами. На одном из них, закутавшись во что-то серое, испуганно привстала худенькая девушка. На другом кто-то лежал, не поднимаясь.

— Здесь кто? — спросил я.

— Настасья Горелова, служанка, доставлена из Воронцова. Разглашает государственную тайну. А та, старуха, даже имени не сказала. Кричала на площади, что Бонапарт сын Екатерины.

Я подошел к девушке:

— Жалобы есть?

Она, не отвечая, смотрела на меня.

— Не будет говорить,— сказал Блохин.— Как привезли, так молчит. Даже купаем, не кричит, как остальные.

Старуха на дальнем топчане не вставала.

— Что с ней? — спросил я.

— Спит,— сказал Блохин.— Она всегда спит.

— Неужели и ее в ледяной воде купаете?

— Иногда,— замывшись, сказал Блохин.

— А остальных?

— В день трижды.

— Отпирайте мужскую камеру,— сказал я.— А я здесь закончу.

— Извольте,— сказал Блохин.— Следующая дверь.

Он вышел.

— Настя,— сказал я.— Слушай внимательно. Сейчас тебя выпустят. У дверей тебя ждет Федор, твой брат.

Она вздрогнула.

— Отъезжайте в конец улицы, там меня ждите. Ты поняла?

Она кивнула головой. Живая слюда ее глаз вспыхнула дрожью. Я вышел.

В мужской камере по углам прятались темные фигуры.

— Жалобы есть? — громко спросил я.

Молчание.

— Два дня не кормят,— сказал кто-то неуверенно.

— Не кормите? — Я обернулся к Блохину.

— Крупа кончилась, да и хлеб плохо подвозят,— ответил тот.

— Еще жалобы есть?

Никто из них и не думал сказать, что вот он здоровый, а посажен в «долгауз». Впрочем, быть может, они говорили. Быть может, сам Ростопчин приезжал сюда и с улыбкой выслушивал жалобы. Глухая стена между правдой и неправдой.

— Христос не жаловался, когда распинали, и нам грех,— сказал голос из самого угла.

— Вот,— оживился Блохин.— Этот, пожалуй, опасный. А остальные так, на кого донос, кто сболтнул чего.

— Тогда гнать всех отсюда,— сказал я.— А с этим поговорю.

— Гулько, Никифоров! — крикнул Блохин.

Прибежал фельдфебель.

— Всех гнать взашей.

Камера опустела. Как тени скользнули мимо меня люди с измученными, серыми лицами.

— Прощай, дедушка Архип,— тихо бросил кто-то.

— Свидимся еще,— сказал голос из угла.

Я подошел. Прямо на полу у стены сидел седобородый старик и прямо смотрел на меня.

— Опасные слова говорит,— сказал Блохин.— Будто Москву французы захватят и сгорит она дотла.

Я обратился к старику:

— Говорил?

— Сгорит Москва-матушка, сгорит,— торжественным голосом сказал тот.

— А ты сам-то московский?

— Бородинский я,— ответил старик.— Из сельца Бородина, что господ Давыдовых.

Я присвистнул:

— Из Бородина? А сюда чего пришел?

— Москву-матушку спасти. И семя принес цветка несгораемого. Где семя то посадить, там на версту кругом пожар не коснется. Так нет же, отняли все, душегубы!

Я повернулся к Блохину:

— Что за семена?

Он махнул рукой:

— Сумасшедший.

— Что за цветок такой, дедушка? — спросил я.

— Неопалимый,— ответил тот.— Горит он, да не сгорает. На святой земле бородинской растет.

— Отпустите его,— сказал я Блохину.— Безобидный старик. Сколько их бродит по русской земле.

— Слушаю,— сказал Блохин.

Мы прошли мимо женской камеры. Свет фонаря выхватил все так же лежащую на топчане фигуру.

Блохин подошел.

— Бабка, вставай! Воля тебе выходит.

Она не ответила. Блохин толкнул ее, наклонился.

— Мертва.— Он перекрестился.

— Уморили старуху,— сказал я,— молодцы-воины.

Блохин только мрачно посмотрел на меня.

## 6

На улице я не нашел ни Федора, ни Насти. Уехали. Наверное, не вытерпел Федор, а может, Настя не так сказала. Выскользнул кончик пути к Наташе.

Ну ничего, «даст бог, свидимся», так, кажется, говорил старик. Сейчас я чувствовал в себе силы пойти на Пречистенку, в дом Листова, накричать на «псов цепных» Цыбикова и Шестопятова, разогнать их, узнать о Листове.

Придется пешком идти, извозчика, конечно, не сыщешь. Уже за полночь, двадцать четвертое августа, какой там извоз-

чик. Через день Бородинская битва, Наполеон в ста верстах от столицы. Город пустеет, извозчики давно бросили работу, тем более ночную.

Я знал правильное направление. Выйти бы к центру, а там уж найду Пречистенку.

Под звездным просторным небом я шел, спотыкаясь, по улицам. Несколько раз меня облаяли собаки. Кое-где в домах еще светились окошки. Поздно не спят в старой Москве. Или, быть может, укладываются, чтобы утром чуть свет бросить свой дом и ехать подальше от французов. А может, в каком-то окошке все ждут ту старушку, которая умерла в Девяткином приюте.

Я шел по Москве. Ни один еще город на пути Бонапарта не оставлял пустых стен. Этот готовился к своему великому переселению, к своему пожару, к своему перерождению. Я чувствовал, как в темных лабиринтах переулков идет незаметная работа, как напряглись стены деревянных домов и заборы, как привстали сады,— все ощущало приближение великих дней, когда самосожжением, своим яростным пламенем город прогонит синие мундиры.

В одном музее я видел план Москвы. Штриховкой показаны выгоревшие дотла районы. Почти вся Москва оказалась покрытой серой пеленой штриха. Пепелище! Только кое-где остались линии целых улиц и переулков. Сейчас я шел недалеко от Пресненских прудов. Пепелище! Через месяц здесь будет пепелище.

Я шел и вдыхал густой яблочный воздух августовских садов, запах свежеземляной улицы, запах сухого дерева заборов, запах уходящей жизни. Я прощался с кривыми переулками, с домами, напряженно пытавшимися разглядеть меня в темноте слабыми глазами окон.

«Допожарная Москва» — есть такое выражение у историков. Я шел по самой границе времени, которая скоро разделит две жизни одного города.

Безмолвно вспыхнула падающая звезда. Среди неподвижно мерцающего неба ее стремительный прочерк похож на мгновенно заживающий порез. Его уже нет в небе, но он еще в глазах, а еще дольше в душе.

Послышалась гитара, и тихий мужской голос запел:

— Ночка темная, ты осенняя,  
Моя ноченька, ты последняя...



Кто-то тоже не спал, кто-то прощался с Москвой и, может, думал о времени.

На Знаменке я окончательно узнал город и повернул направо. Листов, против ожидания, оказался дома, и он не спал. Он явно обрадовался моему позднему визиту.

— Куда вы пропали? Ну что, завтра в армию? Хотите ужинать? Сейчас сами чего-нибудь поищем, Никодимыча я отпустил к родичам в Замоскворечье.

— А я за вас беспокоился,— сказал я Листову.— К вечеру заезжал, но никого не застал дома.

— Ах, да,— сказал Листов.— Меня вызывал Ростопчин и все расспрашивал, как да что, все больше о вас. Конечно, пришлось рассказать, как было. Почему я на старую дорогу повернул, зачем ночевал в имении. Не привык я обманывать, да и вас не хотел подводить.

— И что Ростопчин?

— Посмеялся, похлопал меня по плечу. До него, думаю, тоже дошли сплетни на мой счет.

— Это о вашей женитьбе?

— Да, да,— быстро сказал Листов.— Правда, он долго продержал меня, до самого вечера, но вел себя очень любезно.

А тем временем, думал я, послал в усадьбу полицейских, которых застал Федор. Они, видно, все обшарили и обнюхали.

Листов разглядел мое новое обличье:

— Подарок графа?

— Вовсе нет. Вы и представить не можете, в каких я побывал приключениях. Мне довелось в имение Репнина съездить, туда, где воздушный шар строится. Слышали о нем?

— Отдаленно,— сказал Листов.

— Граф почему-то решил, что я интересуюсь постройкой. Он чуть ли не за шпиона меня принял.

Я стал рассказывать о поездке с Фальковским, но о письме и медальоне не упомянул. Тогда пришлось бы рассказывать слишком многое.

— И вот, представьте, тот человек, который занимается шаром, Шмидт его имя, не то Леппих, проявил ко мне неожиданный интерес, устроил скачки с погоней, а в заключение подарил этот мундир. Словом, получилась целая интрига, а я в ней как с завязанными глазами. Не путают ли меня с кем? Между прочим, какого все-таки полка этот мундир, как вы считаете?

— Похож на Кинбурнского, но все же не тот, у них чакчи-ры красивые. Думаю, какой-то любитель шил для себя.

— А обо всей истории что скажете?

Мне показалось, что Листов несколько смутился. Минуту он не отвечал, потом встал и прошелся по комнате.

— Видите ли...— сказал он с усилием,— кое-что мне здесь понятно. Вернее...

Я ждал, пока он подыщет слова.

— Тут многое из-за легенды вокруг вашей фигуры,— выговорил он наконец.

— Вот как, легенды? Какой же?

— Я, право, не знаю, как лучше об этом сказать.

— Да вы говорите прямо. Я и сам подозревал какое-то недоразумение. Быть может, это пустые разговоры.

— Конечно,— согласился Листов.— Но и я виноват перед вами, потому что в одном случае поддержал «легенду». Согласен, что как раз она и могла вам навредить.

— Так все-таки?

— Вы помните человека, который продал вам Белку?

— Тот, что убит под Гриссельгамом?

— Он был вашим горячим поклонником. Не знаю, из каких побуждений, но он рассказывал о вас всякие небылицы. Сознаюсь, правда, что тогда и я находился в романтическом возрасте и многому верил.

— Что же он говорил?

— Не подумайте, что он делал это за вашей спиной. Отнюдь. Когда вы служили в полку, он молчал. Но когда неожиданно уехали за границу, а он думал, навсегда, стал о вас вспоминать, да так часто и горячо... И не в широком кругу, а только с друзьями. Их было немного, я в том числе. Он представлял вас... словом, человеком необыкновенным.

— В каком смысле?

— К примеру, он уверял, что вам несколько сотен лет...

— Ба!— воскликнул я.— Это что же, Агасфер какой?

— В этом роде.— Листов оживился.— Я вам потому говорю, что романтические порывы юности меня оставили, и я не верю в такие чудеса. А тогда, признаюсь, поверил.

— Что же он рассказывал?

— Он доводил до нас ваши воспоминания о прежних временах. Право же, такие интересные, с такими подробностями, что, казалось, только очевидец может их знать. Сейчас я уже много не помню, но было и о Владимире Красное Солнышко,

и о Невском, о его брате Хоробрите, о Пересвете, который на Куликовом поле сражался...

— Но разве рассказов достаточно, чтобы принять человека за вечного жителя? Быть может, он просто начитался исторических писаний?

— Я, право, не знаю. И сейчас считаю все фантазией нашего погибшего друга. Но как он был талантлив в этой фантазии! Опять же разговоры об эликсире жизни, о вечных странниках. Право же, его можно понять. Я тогда раза два вас всего встречал, а сейчас вижу, что вы обыкновенный человек, как и быть должно. Ну, может быть, оригинальный... Но вы-то сами как относитесь к таким разговорам?

Я пожал плечами:

— Я слишком долго отсутствовал, чтобы оценить их значение. Но теперь уже вижу, что они мне мешают. Быть может, все это дошло до Ростопчина?

— Не исключаю, — сказал Листов.

— Тогда и Леппих, быть может, слышал? Чем объяснить его странные выходы?

— Вот тут вы угадали, — сказал Листов. — И это моя вина.

— Ваша?

— Тот самый единственный случай, когда я поддержал «легенду» о вас.

— Вот как...

— Год назад я был в путешествии за границей. Там и состоялся разговор с Леппихом.

— Случайный?

— Конечно. Ночь на почтовой станции в Альпах. Меня поразило сходство Леппиха с моим погибшим товарищем. Такое же горение в глазах, сбивчивая речь, тысячи планов. И тогда я так же, как в разговорах с моим товарищем, поддался очарованию одной невероятной идеи. Ведь годом раньше я слышал почти такое же от убитого. И тот и другой хотели постичь время. Они рассуждали бесконечно о его природе, о том, можно ли повернуть его вспять, изменить его течение.

— Как же они представляли себе это?

— По-разному. Толком ничего не скажу. Леппих, например, думал о «мираже» времени, наподобие миража, который бывает в пустыне. Знаю только, что для опыта он подыскивал такую же «горячую» точку времени в смысле историческом, как пустыня в климатическом.

— Интересно. Только неопределенно как-то...

— Мечтатели,— сказал Листов.— И он и наш друг мечтатели. Но вы можете представить, какой поддержкой для них могла стать встреча с человеком, прожившим несколько сотен лет, то есть каким-то образом одолевшим время. Ведь это первое доказательство, что загадка времени разрешима.

— И потому вы рассказали Леппиху, что видели такого человека?

— Да. Он был вне себя от восторга.

— И сразу поверил?

— Сразу. Я все рассказал о вас. Я, повторяю, сам был тогда увлечен и тоже было начал рассуждать о веках. Но потом вернулся в Москву, и наваждение слетело. Вместо заоблачных чудес я увидел, что жизнь наша российская далеко не чудо. И, может, ее устройством следует заняться в первую очередь...

— А вы знали, что Леппих сейчас в Москве?

— Да, слышал. Один мой знакомый ездил в Воронцово по пригласительному билету.

— Но ведь для других он, кажется, доктор Шмидт? Как же вы его распознали?

— Это для меня не секрет. В альпийской гостинице он тоже записался под именем доктора Шмидта, а представился Леппихом. Но, кроме того, воздушный шар. Много ли в Европе людей, которые берутся за такую постройку? А для опытов со временем у Леппиха воздушный шар имеет какое-то большое значение. Он много об этом говорил.

— Я слышал, Ростопчин надеется поднять шар к сражению? С него будут бросать бомбы.

Листов пожал плечами:

— Сражения не этим выигрываются.

— Чем же?

— Мне трудно сказать. Я видел их уже несколько... Не опоздать бы. Утром чуть свет едем.

Я показал Листову записку Леппиха.

— Ну что ж,— сказал он.— Подождем. Заодно увижу старого знакомого. Остается уповать, что завтра боя не будет. В любом случае не поспели бы. Сражения начинаются утром.

Я не стал спрашивать, сумел ли он разузнать о своей невесте. По всему видно, что Листов глубоко затаил свои чувства, и нет смысла их тревожить. Мне только казалось странным, что этот спокойный, рассудочный офицер мог кого-то тайно и сильно любить, стреляться на дуэли...

Он подошел к окну, распахнул створки. Пахнуло свежим холодом ночи. Снова звезда упала, перечеркнув темный проем окна.

— Москва, горбатая старушка,— проговорил Листов.— Доведется ли еще свидеться...

## 7

Утром мы напрасно ждали Леппиха у Красных ворот Зачатьевского монастыря. Я обошел стены кругом, постоял у других ворот, но его не было.

Когда собрались уезжать, подкатила телега, и человек в серой поддевке, спросив, кто я, передал записку из Воронцова.

«Сегодня на полдень назначен подъем шара,— писал по-английски Лепихин.— Я думал, что завтра, но меня торопят в связи с предстоящим сражением. Поэтому не смог приехать. У меня есть точные сведения, что наша армия нашла крепкую позицию под Можайском. Скорее всего, завтра-послезавтра решительное сражение. Я обязан там быть в связи с моим шаром, а также опытом, к которому готовился всю жизнь. Я хотел, чтобы вы помогли мне советом, но ваши планы мне неизвестны, и я как будто бы теряю вас из виду. Однако почти уверен, что вы едете в армию, стало быть, разыщу вас там. Что касается девушки, которую вы искали, то пока ничего не могу сообщить, тем более в записке. Надеюсь на встречу. Ваш Ф. Л.»

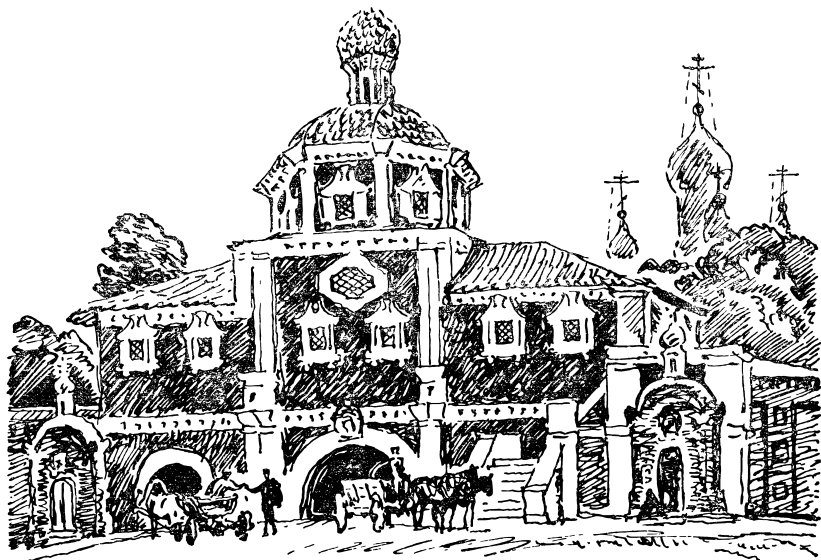
Переулками мы выехали к Арбату. На этот раз Листов предложил добираться в армию новой дорогой. Нам предстояло миновать Дорогомиловскую заставу.

По узкому низкому Арбату серой беспорядочной колонной шло ополчение. Иногда колонну распирало в простую толпу, и тогда она протискивалась между заборами особняков, весело и лихорадочно переругиваясь.

— Да чтоб вас чегт взял! — кричал пожилой офицер на невзрачной лошаденке.— Бгатцы, я вас пгосил, чтобы в ногу! Да ты как пику дегжишь, пгоклятый!

В заторе его лошадь повернуло поперек движения, он выбрался к забору и снова кричал, поправляя кивер:

— Левоу, сукины дети, левоу!



Ополченцы, в серых, коробом сидевших зипунах, с блестящими крестами на шапках, шли через Москву. Последние полки. Вряд ли они успеют к сражению. Они не умеют держать оружие, нестройный ворох пик прыгает над Арбатом, ружей почти нет.

— Это тебе не ухват, газзява! — кричит офицер.

У забора, где посвободней, стоят зрители — мальчишки, женщины, старики.

— Слава те господи, — кто-то мелко крестится. — Вся Россия стронулась, слава те господи.

— Ваня, Ваня, — кричит женщина, — лепешки забыл, Ваня!

— Какие те, хрен, лепешки, — возражают из колонны, — поди, сам станет лепешкой.

— Ваня, Ваня!

— Неправильно говоришь, мил человек. Давай, бабочка, передам твоему Ванятке. Как его фамилие? Впереди он али сзади?

— Прощевайте, миряне! — картинно и весело говорит какой-то парень. — Живыми, стало быть, не вернемся!

— Глянь, ворона на кресте! — кричит кто-то истошно.

Все задирают головы и смотрят на ближайший собор.

— Плохая это примета, братцы.

— Чего плохая? Нету сейчас приметов!

— Гляди, снялась!

— Туда полетела, косточки наши глотать. Большая будет стражания!

— Куманечек, побывай у меня,

Душа-радость, побывай у меня! —

запел вдруг кто-то отчаянным высоким голосом.

— Побывай-бывай-бывай у меня,

Душа-радость, побывай у меня!

— Эх! — снова сказали из провожающих. — Вся Россия струнулась. Ну, будут дела, ежели струнулась, — и опять мелко закрестились.

Мы подождали, пока пройдет ополчение. Рассеялись клубы пыли. Мы выехали на Арбат перед всадником, за которым катила коляска и кучер сердито кричал:

— Все одно не доедете! Все кости уломаете! Садитесь в экипаж, Петр Андреич!

Всадник остановился и стал протирать глаза. На лошади он держался неуклюже, синий чекмень с голубыми обшлагами был ему явно велик. Не то кивер, не то мохнатая шапка с черным султаном нахлобучена по самые уши. Из-под нее совсем уж смешно и растерянно поблескивали очки в золотой оправе.

— Что за чучело? — пробормотал Листов и вдруг осекся: — Вяземский!

Лицо всадника озарилось ясной улыбкой:

— Паша! Ты здесь? Я думал, в армии!

— Еду сейчас. А ты куда? На карнавал собрался?

— На карнавал смерти! — смеялся Вяземский. — Я тоже, моншер, в армию. Ей-богу, Поль, не могу понять, куда меня, смирную букашку, несет?

— Что за маскарад? — Листов разглядывал мундир.

— Да это Мамоновского полка. Ты что, не знал? Мамонов свой полк нарядил, а командиром князь Четвертинский. Я адъютантом к Милорадовичу назначен.

— Петр Андреич, пожалуйста в коляску, — опять начал кучер за нашей спиной.

— Да замолчи ты, вот ей-богу! Поль, я так рад, что тебя повстречал. Вместе поедem. Смотри, домашние за мной целую

коляску с дядькой увязали. Мне, право, стыдно так по Москве ехать.

— С чего это? — удивился Листов. — Я тоже, как видишь, в коляске. Знакомься: поручик Берестов.

— Где-то я вас видел, — сказал Вяземский.

— На лошади ты, Петя, никак не доедешь, — сказал Листов. — Не фанфаронь понапрасну. Ты и в седле-то сидеть не умеешь.

— Не умею! — сказал Вяземский. — И стрелять тоже!

— Так что слезай и садись с нами. Лошадь пойдет за тарансом. А в дороге поменяем экипажи. С подставами, пожалуй, сейчас трудно.





А у меня готовы подставы,— сказал Вяземский.

Он спешился и втиснулся между нами. Пахнуло духами, свежестью новой одежды, радостной ясностью лица и добродушием.

— Да что у тебя за кивер? — сказал Листов. — Тебя за француза примут.

— Правда? Меня одна графиня и без того почитает французом. Веришь ли? — Вяземский вдруг начал хохотать. — Арманом зовет! Ну скажи, Пашенька, какой я Арман с таким свиным рылом.

Листов смотрел на него с улыбкой.

Нелепой одеждой, очками, округлостью лица, всей этой поездкой в Бородино Вяземский сразу напомнил мне Пьера из «Войны и мира». Только был он легче, изящней. В его веселой, слегка дурашливой манере держаться сквозило умное и цепкое внимание, а уголки губ показывали, что ко всему он относится с иронией.

— Второй двенадцатый год,— сказал Листов. — Петя, как думаешь, чем для нас кончится?

— Думаю, тем же,— ответил Вяземский.

Они заговорили об изгнании поляков, о пожаре Москвы.

— Ты что про Кутузова думаешь? — спросил Вяземский.



— Армия верит,— ответил Листов.— Знаешь, что Суворов про старика говорил? «Я Кутузову не кланяюсь. Он один раз поклонится, а сто раз обманет».

— Думаешь, и Бонапарта проведет?

— Посмотрим. Мне все кажется, у старика свое на уме. По войскам разъезжает с таким лицом, будто что-то знает. Одним глазом смотрит, вполуха слушает. Всем видом показывает: говорите, мол, делайте, а я один понимаю, что будет.

— Да,— хмыкнул Вяземский.— Это еще не порука. Мне Барклая жалко.

— Вон, может, в них порука? — Листов кивнул на пылившее впереди ополчение.— А что им Барклай? Иноземец. Когда Россию за сердце взяли, разве может отвечать иноземец?

— Да какой он иноземец! — воскликнул Вяземский.— Он с рядового в русской армии начал. Любо́й графский сынок еще поро́ху не нюхал, а уж капитан, а то и полковник, а он с рядового! У него отец бедный поручик. А кто армию спас?

— Да это все правда,— сказал Листов.— Только другого выхода нет. Я сам слышал, как Барклая изменником называли. В нем видели всю беду.

— Так-то всегда.— Вяземский завертелся на месте.— Сначала приглашаем со стороны, а потом в морду да в морду!

— Ты, Петя, смотрю, совсем изящный язык позабыл. Русская речь полилась изначальная.

— Привык,— сказал Вяземский.— Я штрафу уже на двести рублей отдал за французский. Теперь все мы до выверта русские. Но погоди, отобьем французов, снова на Европу глядеть станем.

У Москвы-реки мы обогнали ополченцев и по деревянному настилу въехали на Дорогомиловский мост. Берег здесь круто обрывался к реке, толпа любопытных стояла у деревянных перил и смотрела сверху на движение по мосту. Паромный мост лежал плоско, прижавшись к воде. Зыбко подрагивали от колес доски.

— В Воронцове аэростат поднимают сегодня,— сказал Листов.

— Слыхали.— Вяземский вытащил из кармана розовый листок и помахал: — Ловко он забавляется, ничего не скажешь.

Я прочитал:

«Здесь мне было поручено от государя сделать большой шар, на котором пятьдесят человек полетят, куда захотят, по

ветру и против ветра, а что от него будет, узнаете и порадуетесь... Я вам заявляю, чтобы вы, увидев его, не подумали, что это от злодея, а сделан он к его вреду и гибели...»

Это была та самая афишка, о которой я сказал в разговоре с Ростопчиным. Содержание некоторых, а в особенности этой, я хорошо знал. Такие афишки Ростопчин печатал небольшим тиражом и развешивал по Москве. С их помощью он пытался укрепить свое влияние среди населения. Писал их собственноручно, сам выдумал для них героя, простака и рубаху-парня Корнюшку Чихирина, который ловко бьет французов и не боится никаких бед. Об афишках судили по-разному. Одних раздражал залихватский псевдонародный тон, другие считали, что они служат на пользу.

— У меня есть дворовый Корней, он читать умеет,— сказал Вяземский.— Я с ним почти в дружбу вошел, говорим за просто. Так он про эти афишки сказал: «Много у вас, господ, крику. Чуть что, горло надрывать. А разве такое сейчас время, чтобы кричать? Теперь поразмыслить надо, да чтоб с умом Россию спасти».

— Это не только про Ростопчина, это про всех нас,— сказал Листов.— Ты посмотри, Петя, сколько грому, сколько красивых жестов. Все форму надели. А пойдешь на бульвар, смех один — новоиспеченные офицеры кивера, что котелки, все новенькие приподнять.

— В меня метишь! — воскликнул Вяземский.

— Да хоть и в тебя. Ты, Петя, знаю, сердиться не будешь, скажи мне толком: зачем в армию едешь? Адъютантом к Милорадовичу! Да чем ты ему поможешь в сражении? Только мешаться будешь, к тебе офицера специально приставят, поскольку ты важная птица да чтоб под ядра не лез. Так вот скажи: куда же вы все, танцоры-гуляки, хорошие приятели, Мамоновы, Салтыковы, Щербатовы, куда же вы скопом ринулись? За славой, что ли? Или так, просто покрасоваться?

— Ну, брат, ты хватил! — Лицо Вяземского похолодело.— Это я тебе укоризну сделаю! Зачем я еду? Ты прав, я и стрелять не умею, ты прав. Но вот, ей-богу, все равно еду! А ты хотел, чтобы я в свое имение подальше сбежал, чтобы водку пил да зайцев гонял, пока ты будешь один воевать? Нет, брат! Вон ополченцы, чем лучше меня? Ружья в руках никогда не держали. Хватил, брат, хватил! Сейчас не одни военные, сейчас вся Россия в поход собралась!

— Ну, ну... Может, и прав,— примирительно сказал Ли-

стов.— Хотя это опять же крик. Правильно твой Корней говорил, много у нас шума, а мало дела.

— Ах, Паша, чего ты такой критик сделался? Наверное, давно не влюблялся, вот и хочется все ругать.

— Ну, это как знать,— сказал Листов.

Я посматривал на Вяземского. Он станет другом Пушкина, но пока они еще не знакомы. Пушкину всего тринадцать лет, и он только что поступил в Лицей. Я попытался представить, как по тенистому саду в далеком Красном Селе бродит сейчас задумчивый хрупкий подросток. Попытался, но не сумел. Пушкин все еще был для меня в другой эпохе.

Мы проехали Дорогомиловскую заставу и круто взяли вверх у Поклонной горы. Позади налегке ехал дядька Вяземского, за тарантасом бежала привязанная лошадь.

— Стой! — сказал Вяземский.— Давай на Москву взглянем, может, уже не придется.

Мы поднялись на Поклонную гору. День стоял серый, но светлый, с высоким перламутровым небом. Москва в синевато-зеленом налете садов простиралась под нами. Рассыпное золото соборов казалось нежно-салатовым, оно не блистало, а матово круглилось. Вся Москва представилась большим таинственным садом с молодильными яблоками соборных глав.

Пожар. Я думал о нем. Мысленно я представил пылающую Москву, огненное море, черные винты дымов, снопы искр. Я так четко увидел все это внутренним зрением, что казалось, вот-вот Москва вспыхнет, покажет мне огненную картину недалекого дня, точно так же, как в доме на Пречистенке я видел судьбы офицеров. Но нет, спокойная, даже кроткая, в легкой дымке осеннего дня, она лежала все тем же садом, не поддаваясь на вызов будущего, и в этот миг я почувствовал, что ее мягкий, почти женский облик не подвластен пожарам.

Прощай, город!

## 8

В Перхушкове мы пересели в коляску Вяземского. Дальше на двух станциях были готовы подставы, и ехали мы быстро.

Новая Смоленская дорога уже была дорогой войны. По обочинам стояли сломанные телеги, валялись колеса. То и де-

ло попадались следы костров, срубленные деревья. Дорога раздалась вширь, захватив луговую траву. Густой слой пыли, взмешанной сапогами, колесами, копытами, придавал дороге мягкий пуховый профиль, под которым таились рытвины и ухабы.

Несколько раз мы обгоняли колонны войск, пушки, обозы и целые вереницы пустых телег для раненых. Иногда войска шли так густо, что дорога превращалась в сплошной пылевой туннель, белый, розоватый или смутно-желтый, в зависимости от освещения.

Солнце то прыгало за быстрые клочковатые облака, то выскакивало, то меркло в пыли.

Вяземский поклевал носом и заснул у меня на плече. Он мирно посапывал и терся щекой о мой доломан. Листов тоже надвинул фуражку и будто бы задремал.

Я закрыл глаза и представил три феерических дня. Три неполных дня в новом мире, а кажется, я прожил целую жизнь. Разобраться во всем я пока не в силах. Лепихин принимает меня за человека, одолевшего время, Ростопчин за подходящего исполнителя своих театральных планов, Листов просто за «оригинала»...

Наташа... Это и загадка и надежда одновременно. У той, на медальоне, волосы падают гладкой блестящей волной. У моей это всегда беспорядочный, подхваченный и разбросанный ветром ворох разномастных прядей, от темно-пепельных до каштановых или выгоревших до соломенного блеска. У той, на медальоне, спокойный, слегка печальный взгляд. У моей всегда живой, настороженный, доверчивый, беспокойный или радостный. У обеих серо-голубые глаза, темные, с глубинным отливом моря в непогоду.

Уже от Кубинской мы стали явственно различать отдаленный рокошующий гул. Канонада. Как будто мягко перекачивал кто-то тяжелые шары по железному скату неба.

— Неужто опоздали? — сквозь зубы сказал Листов.

Я-то знал: это бой за Шевардинский редут. Я стал успокаивать Листова, говоря, что для главного боя канонада слаба. Он согласился.

Можайск был запружен войсками. Отсюда ясно различалась каждая пушка, но пальба догорала. Кто-то подтвердил, что это стычка на левом фланге и длится она с полудня, но главные силы еще не вступали.

Поздним вечером мы подъезжали к Бородино. Сначала

увидели слабое озарение неба, потом развернутые мириады костров. Канонада уже затихла, но еще неровно потрескивал вдалеке ружейный огонь.

Скрип колес, топот копыт, густой говор полков стояли над Бородинским полем. В темноте шли батальоны, ехала конница, покрикивали ездые. В неверном освещении костров все двигалось, мельтешило. Казалось, поле вздрагивает и колеблется, взбалтывая на себе массу войск.

От Горок мы повернули влево и стали искать Ахтырский гусарский полк, в котором служил Листов. Нам показывали в разные стороны. Наконец от одного костра окликнули:

— Листов, пропащая душа! Тебя Денис Васильич рыщет!

— Где он?

— Вон там, в балке.

— Что тут у вас за грохот? От самой Шелковны земля трясется.

— С левого фланга нас сбили. Горчаков, говорят, зубами держался. Но теперь новую позицию нашли.

— Так где батальонный?

— Вон там. Правее, правее бери.

У остатков забора догорала куча хвороста. Кто-то, завернувшись в бурку, спал у огня. Листов вышел из коляски.

— Денис Васильевич!

— А? — Спавший вскочил, живо блеснули глаза. — Павел! Ты вернулся? Никишка! — тут же закричал простуженным голосом. — Заморозить меня хочешь, злодей? Сейчас неси дров, каналья! Да водки, ужинать будем!

— Чичас, — спокойно отозвались из темноты. — А водки не знаю. Где взять? Еще днем кончилась...

— Чтоб была! У полкового займи, замерз я чего-то!

— Денис Васильевич, здравствуй. — Листов сел у костра. — А это мои товарищи.

— Князь Петр! — вдруг закричал тот громко, хоть и хрипло. — Вот не думал, не гадал! Да ты на мумию похож, весь в пыли!

«Неужели Давыдов?» — подумал я, вглядываясь в слабо освещенное лицо с лихорадочно блестящими глазами.

Мы с наслаждением повалились на холодную траву. После трудной дороги я чувствовал себя разбитым, пыль скрипела на зубах.

В костер подкинули хвороста. Он пригас, а потом вспыхнул, резко обнажив темноту. Давыдов! Конечно. Широкое не-



большое лицо, припеченное снизу бликами пламени, лихие усы, растрепанная шапка волос, из которых одна прядь, вызывающе белая, как клочок ваты, торчит наотлет. Нос пуговицей, какой-то особо заносчивой формы, сверкание глаз и нетерпеливое подергивание плечами.

Он быстро заговорил с Вяземским. Они перекидывались короткими фразами, шутками, хохотали.

— А я тебя ждал,— сказал он Листову.— Ждал не дождался. Кабы вчера вернулся, я бы с собой тебя взял. Завтра, душа моя, отбываю.

— Завтра? — удивился Листов.

— Доконал я светлейшего рапортами. Дали мне пятьдесят человек гусар, сто пятьдесят казаков. Багратион карту свою уступил, и прощай, дорогой Денис! Пойду шастать по французским тылам, сам себе хозяин. Ты бы пошел, Паша? Бекетов, Макаров со мной и Бедряга. Очень тебя хотел, да ты уж адъютантом к Багратиону назначен. А так пошел бы?

— Но ведь сражение... — неуверенно сказал Листов.

— А что сражение? — горячо заговорил Давыдов. — Что ты в сражение? Знаю такие дела, свалка, и все тут. Я, брат, в толпе помирать не хочу, у меня свое предприятие. Посмотрим, что больше России даст, сражение или кадрили мои по тылам. Я их без штанов оставлю, жрать будет нечего, зарядов не будет! Посмотрим, каково тогда им станет в сражение!

— Э, Денис, а не жалко тебе все же? — лениво сказал Вяземский. Он блаженствовал на кошме. — Я и то к бою приехал. Глядишь, орден получу. А тебя по тылам кто заметит, кто наградой побалует?

— Да не смущай ты мне душу! — закричал Давыдов. — И так совсем умучился! Сам знаю, что завтра здесь славная рубка будет. Только пойми: не моя планида! В скольких сражениях я лез как оголтелый вперед, а толку? Нет, Петр, я на большее способен. Мне бы армию под руку, хоть небольшую, потрошил бы я корсиканца с хвоста! Но ничего, я и с двумя сотнями обернусь. Мужиков наберу корпус, их по лесам сейчас много шатается.

Подсели к костру несколько офицеров, заговорили о схватке за Шевардино.

— Из наших кто в деле?

— Александрович с двумя эскадронами, еще не вернулись.

— А неплохое, говорят, дельце, жаркое.

— Тысяч пять полегло.

— У них больше.

— То ли завтра будет!

— Кого-то сегодня недосчитаемся.

— Денис Васильич, куда ж нам без вас?

— Завтра не начнет, охорашиваться станет.

— А вдруг как под Царевым Займищем? Постоим-постоим да уйдем?

— Куда же идти? Москва вот она.



— Братцы, пунша сварим! Никишка, кастрюлю, лимон, корицу!

Над костром подвесили большую кастрюлю, пряный запах горячего рома пахнул в ясном воздухе ночи.

— Никишка, стаканы! — крикнул Давыдов. — Да трубку! Я вспомнил:

Станем, братцы, вечно жить  
Вкруг огней под шалашами,  
Днем — рубиться молодцами,  
Вечерком — горелку пить!

— Ребята! — крикнул Давыдов. Он встал на колени, поднимая бокал высоко, как саблю в атаке. — Пью ваше здоровье! Ни дна вам, ни покрышки! Кто завтра со мной, тот за оставшихся выпьет! Кто остается, тот за нас! Ваш батальонный, подполковник Давыдов, обещает сбрить усы, ежели слава о нем не вернется к ахтырцам! Круши, гусары!

— Ура! — закричали офицеры.

— А теперь за Россию! — крикнул Давыдов. — Пусть она, матушка, нас приласкает, в земле сырой согреет! А мы уж будем скоблить с нее чужие сапоги! Ура!

— Ура! — закричали все.

— Шумим, — тихо сказал мне Листов. — То самое, о чем говорил Корней.

— Чего там шепчешь, Паша? — Давыдов подсел к нам. — Нет, что же мне делать, братцы! — Он ударил кулаком по колену. — Ехать или не ехать? Может, плюнуть на все, отказаться? Хоть надвое разорвись!

— А ты после сраженья, Денис Васильевич, — сказал Листов.

— После сраженья... А если убьют? Кто мое предприятие возьмет? Ты ведь не пойдешь партизанить?

Он задумался и с ожесточением воткнул в рот длинную трубку.

— А ведь это мои места. Я здесь вырос, каждый пригорок знаю. Когда подъезжал, сердце сдавило. Уж тут ни одной избы не осталось, все разобрали для люнетов. В моем доме до вечера Кутузов стоял, а теперь не знаю, должно быть, тоже сломали... Народ разбежался, одного Архипа встретил. Мудрец, право. Говорит, земля здесь святая...

Я сразу вспомнил старика из «долгауза». Его тоже звали

Архип, и шел он из Бородино. Неужто так быстро обратно добрался?

— Караульщик тут есть в нашей церкви, — пояснил Давыдов. — Не простой старик — книжки читает. Так он сказал, святая земля. Неужто побьем тут Бонапарта?

— А ты в партизаны спешишь, — сказал Листов.

— Ах, Паша! — Давыдов отчаянно всплеснул руками. — Да куда теперь отворачивать? Казаки и гусары выделены, разговоров по горло, инструкция в кармане, насмешников хоть отбавляй. Все гибель мне прочат. Так что же, испугаюсь? Затеял, мол, и в кусты? Нет, нет, не сбивай меня, не сбивай...

Он еще яростней вцепился в трубку. Денис Давыдов! Знаменитый поэт-партизан! Гусар, которого воспели Пушкин, Жуковский, Батюшков. Да кто только не восхищался им! Его стихи знала наизусть вся армия. Его славе мог позавидовать любой герой двенадцатого года. И в то же время все признавали его неудачником. Он не достиг высоких чинов по службе, его не любил царь.

Денис Давыдов, «поклонник красоты», как называл себя сам, фантазер, написавший биографию, похожую на гимн самому себе, Давыдов-храбрец, Давыдов-гуляка, Давыдов — нежный влюбленный, Давыдов-острослов, Давыдов, выразивший в стихах и в жизни всю пеструю широту своей русской натуры, — вот он сидел рядом со мной, понурившись, в мучительном раздумье о завтрашнем дне. Где его место? В громе сражения рядом со всеми или в отчаянном рейде по французским тылам в одиночку? Где птица славы?..

Гусары гомонили, распевали песни.

— Денис! — крикнул кто-то. — Стихи! Стихи читай, не откажи на прощанье!

— Ой, не могу, ребята, увольте.

— Читай же, читай!

— Ах, нет! Сердце томится, стих крылышки опустил! Просите Карчевского. Карчевский, задай импровизацию, ты ведь мастак!

— Давай, Карчевский! Скажи про любого из нас!

— Буриме?

— Буриме!

— Рифмы задайте.

— Гусар! — крикнул кто-то. — Жар! — подхватил другой. — Пламя! Знамя! С нами!

— Так «пламя — знамя» или «пламя — с нами»? — спросил Карчевский.

— Давай что труднее!

— И про кого?

— Про Давыдова! Про Листова! Про Бедрягу!

— Нет, было, было. Про всех было. Давайте другого.

— Листов, кто там с тобой лежит? Товарищ твой? Тоже гусар? Как его зовут? Берестов? Саша Берестов. Давай про него! Смотри, какой задумчивый. Тихо! Читай, Карчевский!

Вот оно, подумал я с замиранием. Я знал, что сейчас услышу. Я лежал, облокотившись, чуть поодаль от костра, лежал точно в такой позе, какую вообразил себе, читая найденные у Артюшина стихи! «Там Берестов, задумчивый гусар...»

— Наш Берестов, отчаянный гусар, — начал Карчевский, — в бою всегда подхватывает знамя...

— Стой! — закричал кто-то. — Откуда знаешь? Не фанфаронь, Карчевский! Давай правду! Снова, снова давай!

— Тогда так, — сказал Карчевский. — Там Берестов, задумчивый гусар, на биваках приятельствовал с нами...

— Ага, это лучше!

— Тише, тише!

— И на лице мешался думы жар, и жар костра... — Карчевский остановился. — А дальше не получается. Там рифма «пламя» в конце...

Все загомонили. Каждый предлагал свое: и «радостное пламя», «битвы близкой пламя»...

— Берестов! — крикнул кто-то. — А ваш вариант? Или про себя не интересно?

— И пунша яркий пламень, — сказал я слово в слово по артюшинской строфе.

— Э нет, не пойдет! Не «пламень», а «пламя»!

— Карчевский сегодня не в форме!

— Ребята, пуншак кончается! — кричит кто-то отчаянно.

— Эх, господа, а ведь скоро бой...

Я лег на спину и стал глядеть в глубокое черное небо, полное вздрагиваний, слабых вспышек и пригасаний множества звезд. В голове медленными кругами ходили знакомые строки:

Там Берестов, задумчивый гусар,

На биваках приятельствовал с нами,

И на лице мешался думы жар,

И жар костра, и пунша яркий пламень...

Бой за деревню Шевардино, грохот которого мы слышали за пятьдесят верст, начался в полдень двадцать четвертого. Армия отходила в поисках места для сражения, арьергарды едва сдерживали наседавших французов, а когда войска стали разворачиваться у Бородино, оказалось необходимым вообще остановить Бонапарта, чтобы подготовиться к сражению.

Так получился Шевардинский бой. Французы атаковали превосходящими силами и к вечеру выбили русских из недостроенных укреплений, но последовала контратака гренатеров во главе с Багратионом, и редут снова оказался в наших руках. Когда мы подъезжали к Можайску, Шевардинский бой кончался, французы были остановлены на сутки, а русские отошли на другую позицию у деревни Семеновской.

После пунша у костра Давыдова Вяземский уехал искать генерала Милорадовича, а мы с Листовым обсудили планы на завтра. Утром Давыдов отправлялся в партизанский рейд, Листову надлежало явиться в штаб второй армии.

Листов хотел представить меня кому-нибудь из знакомых генералов и тоже определить в адъютанты. Другого выхода, на его взгляд, не было, в полк меня никто не запишет.

Он сказал:

— Сейчас туча ненужных людей наехала, и всех берут в адъютанты. Вроде и при деле, и без забот. Как в театре.

— Спасибо.— Я засмеялся.

— Прекрасно знаете, я не о вас,— смутился Листов.— Вам прямое дело к боевому генералу. Только вот где его взять? Связей у меня не так уж...

Вернулись два эскадрона ахтырцев. Они прикрывали шевардинскую батарею. Пожилой ротмистр с жаром рассказывал о фланговой атаке, во время которой отбросили пехоту генерала Компана. Рассказам и спорам не было конца. Под шум гусарского костра я уснул, завернувшись в чью-то шинель.

Утром Листов поехал рапортовать в штаб, а я долго и с наслаждением умывался в холодном ручье. У длинной коновязи среди других лошадей стояла моя Белка. Одним глазом, не слишком удивляясь, она оглядела мой новый мундир и продолжала жевать сено.

По всей длине ручья с обеих сторон плескались солдаты.

Сине-коричневые гусары, драгуны с оранжевыми и голубыми воротниками, уланы с малиновой грудью. Кто брился, кто стирал сорочку, кто набирал воды в котелки. Здесь стоял четвертый кавалерийский корпус, ахтырцы входили в его состав.

Вихляясь, прошли подводы с ранеными во вчерашнем бою.

— Не хмурьтесь, ребята! — крикнул им кто-то. — Не на тот свет поспешаете!

— И то, — ответили с подводы. А на другой застонали.

Вернулся Листов на своем черном мускулистом Арапе. Он получил распоряжение знакомиться с позицией и позвал меня.

Семеновской, по улице которой я скакал еще три дня назад, уже не было, уцелели только два дома. От прочих остались захламленные четырехугольники, да кое-где печи. Даже деревья рубили, чтоб не мешали войскам во время сражения.

Все поле походило на огромную строительную площадку. Тысячи ополченцев в белых рубахах копали землю, таскали бревна, катили тачки. Лопатами, кирками, ломami прокладывали дороги, срезали пласты земли, насыпали брустверы. Стук топоров, жужжание пил, говор, возгласы, песни.

Войска передвигались целыми массами. Иногда они затапывали начатый профиль дороги или раскачивали неукрепленный мост. Ополченцы ругались и начинали работу снова. Солдаты отшучивались или тоже ругались, но во всей этой перебранке не было злости и суеты, а только напряженное предчувствие огромного события, которое надвигалось на всех.

Мы ехали к мосту через Колочу. Листов собирался подняться на колокольню бородинской церкви и оттуда хорошенько рассмотреть позицию.

У центрального взгорка особенно живо кипела работа. Кто-то окликнул Листова. Улыбчивый офицер в форме поручика инженерных войск оказался знакомым еще по кадетскому корпусу.

— Ну как тебе нравится моя крепость? — спросил он. — Девятнадцать орудиев да еще перекрестный огонь с обоих флангов.

Редут был почти готов. Светлая медь пушек парадно горела в черных земляных проемах, зарядные фуры стояли в ряд, суетились артиллеристы и ополченцы.

— А не слишком у тебя с флангов открыто? — спросил Листов.

— Ты, я смотрю, не забыл фортификацию. Здесь положу бруствер со рвом, а сзади палисады с проездами. Еще волчьи ямы хочу нарыть по склону. Вечером Раевский будет смотреть.

— Пушек не мало? — спросил Листов.

— Больше не уместить. Слева шестьдесят орудиев да справа столько же, а моя батарея венец всей бомбежки. Думаю, всыпят здесь корсиканцу.

— Это бы хорошо, — сказал Листов, а когда отъехали, повторил: — Все-таки мало пушек. Я бы здесь тридцать поставил, хорошая горка.

На этой «хорошей горке» всего несколько дней назад я выкладывал начальные буквы polegших полков. На ней я в последний раз видел Наташу и в память об этом сорвал полевой цветок. На этой «хорошей горке», батарее Раевского, как потом ее назовут, десятки тысяч сложат свои головы, и, по словам очевидца, она будет «вымощена телами наподобие паркета...».

У бородинской церкви я неожиданно увидел Архипа, старика, говорившего о пожаре Москвы. Одет он был ярко. В розовой рубаше и серо-голубых штанах. Седая борода расчесана, взгляд торжественный. Ничуть не удивляясь моему появлению, он степенно наклонил голову. Мы спешились.

— Стало быть, ты и есть караульщик?

— Стало быть, так, — ответил он. — А теперь и звон исполняю, пономарь наш помер.

— Мы к тебе в гости. Не удивился?

— Вся Русь нынче в гости, а многие гостями навек пребудут.

— Думаешь, много погибнет? — спросил Листов.

— Отчего же погибнет, — возразил Архип. — Нету героям погибели.

— Славно говоришь, загадками, — сказал Листов. — Нам бы на колокольню подняться.

— То можно, — сказал Архип. — Я благовестить начну и вы со мной. Одни не взойдете, лестница больно трухлява, каждую ступенью надобно знать.

— А не ты ль говорил, что земля тут необыкновенная? — спросил Листов. — Нам вчера рассказали.



— Святая земля, — сказал Архип. — Верное дело.

— Чем же святая?

— Россию от гибели бороняет. Уже тыщу лет бороняет.

— Так уж и тыщу, — сказал Листов.

— А ты посмотри, — заговорил Архип. — Вон речка, как называется? Вóйна. А энта вон — Кóлоча, что значит сеча. Вон тот ручеек подале — Огник, значит, огонь. А там за бугорком — Стонец, стало быть, стон. Еще дальше речка Сетунь — то печаль, сетование. Что следовает? Война, битва, огонь, стон да страдания — вон оно издревле как все окрестили! Смекаешь?

— Интересно,— сказал Листов.

— В писаниях старых что говорят? Бились на этом поле русские люди спокон веков. Как враг идет на Москву, так здесь препон. Михаил Хоробрит, слышал? Брат Александра Невского, он тут голову положил, дрался с литвой. Ольгерды, Ягайлы этой дорогой ходили, на русский меч натыкались. Иноки Пересвет и Ослябя из этих мест на Куликово поле благословлены были.

— Да ты, брат, образован. Читать умеешь?

— Слава богу. Этому сызмальства научен,— с достоинством сказал Архип.

— А что за летописи? Где ты читал?

— У нас целая келья писаниям отведена. И в Колоцком монастыре имеется.

— Думаешь, не первая битва за русскую землю здесь будет?

— Истинно. И татарву отсюда гоняли, и шляхту, за тыщу лет всякую нечисть. Ясная тут земля, пакость скинет, умоется и опять солнышку рада.

— Места, конечно, красивые,— сказал Листов.

— То-то! — воскликнул Архип.— Рази красота гадость терпит? Да и народ почему тут обжился? Нам еще деды сказывали. Шли из далеких мест, а было то еще при Владимире Красно Солнышко. Шли, долго шли. Князь-то суров был, чуть что — голову с плеч, а одной семье велел идти до самого северу, до зеленой звезды, пока ноги в кровь не источатся, а назад в свои дома не возвращаться. То и были наши деды-прадеды. Шли они, шли, многие померли. Поляна открылась, и видят, на бугорке цветик горит нежным пламенем. Красота какая! Загляделись. А подошли к цветку — только что горел, а стоит цел-целехонек. Горел не сгорел тот цветик. Одно слово — неопалимый. И деды сказали: «Здесь земля святая, и кровь с наших ног полечит». С тех пор и живем.

Какой-то офицер окликнул Листова, и он отошел.

— Послушай, Архип,— сказал я,— ты в Москву будто бы семена приносил. Уж не того ли цветика, который прадеды видели?

— Того, господин драгоценный, того.

— Который горит не сгорает?

— Истинно.

— Значит, на самом деле такой есть цветок?



— Есть такой цветик божеский, неопалимый. Только не каждому глазу откроется.

— Как же ты из Москвы так быстро добрался? Я вот на лошадях и то к вечеру доехал.

— Чем же такое быстро? — сказал Архип. — Всю ночь бодро шагал, а утром люди добрые подвезли. Все поспешают нынче. А мне сам бог приказал. Сраженья пройдет, надо в Москву скорей ворочаться, цветок садить, где успею. Ах, отняли семя, злодеи! Ежели где успею посадить, на версту кругом пожар не тронет.

— Все-таки, думаешь, загорится Москва?

— Всполыхнет, — сказал Архип. — Раз уж земля русская страдает, Москва первое дело всполыхнет.

Вернулся Листов, и мы поднялись на колокольню. Далекий вид открывался отсюда. Влево и вправо раскиданы деревеньки, лес по горизонту подступал сплошным окруженьем, а ближе к полю распадался на кучные толпы деревьев.

Змеилась Колоча, высоким берегом очерчивая правый фланг русских. Левый загибался дугой в сторону Семеновского оврага. Вдали золотыми главами поблескивал Колоцкий монастырь.

Все поле оживленно посверкивало, калейдоскопом мельтешили мундиры, белые, синие, красные, желтые. С русской стороны эта пестрота лежала как бы на зеленой подкладке, с французской на синеватой, — главные цвета войск хорошо были заметны сверху.

Где-то за дальним лесом, у Старой Смоленской дороги, пощелкивали выстрелы, словно кто-то рубил хворост. Там егеря с утра держали легкий напор польского корпуса, но за деревьями ничего не было видно.

Отсюда как на ладони рисовалась позиция. В центре, прямо против колокольни, на том берегу Колочи тупым углом развернулась батарея Раевского. Справа от нее за маленьким лесом чуть дальше Семеновской горсткой сбились три укрепления — Семеновские или Багратионовы флеши, так их потом называли.

Эту линию занимала вторая армия Багратиона. В нее входили два пехотных и один кавалерийский корпус. Влево от батареи Раевского развернулась первая армия Барклая де Толли из пяти корпусов. Там у деревни Горки стоял штаб Кутузова, и я напряженно пытался различить в сумятице войск бело-зеленое пятно кутузовской свиты.

Французы тоже что-то строили, но работы чувствовалось меньше. Купола французских палаток роем высypали по опушкам леса, их было больше, чем на русской стороне, и казалось, богатый табор стоит против табора победнее.

Архип тем временем колдовал у колоколов. Он отвязал веревки, разложил их по балке. Поглядев на поле, на тысячи людей, снующих туда-сюда, проговорил сокрушенно:

— Ах, комарики драгоценные, побьет вас градом железным, побьет!

— Комарики? — спросил Листов. — А ты говорил, нету героям погибели?

— Дай-то бог! — Архип перекрестился.

— Что же, дед, — сказал Листов, — красивую ты историю рассказал о цветке, да по ней выходит, что село ваше постарше Москвы. Владимир-то Красное Солнышко за полтора ста лет до Юрия Долгорукого жил.

— Может, и постарше, — сказал Архип. — Только не было споначалу села, скиты лесные стояли, люди свободные жили. А селцом — то уж бояре Бородины владели.

— За что ж твоих предков Владимир изгнал?

— Опять же за красоту. Были в роду том девки-красавицы, у каждой лицо — огнецвет. Князь их к себе хотел взять, на потребу, да мужики упротивились. Взялись за мечи, сказали: «Помрем, а сраму не стерпим». Был среди них дружинник, ездец лихой на белом коне — один на сто печенегов ходил. Князь его сильно любил, потому и не предал смерти семейство, а только сказал: «Подите прочь из мово Берестова»...

— Берестова? — спросил Листов.

— Что под Киевом. Там княжий дворец стоял. Сказал: «Подите до самой зеленой звезды, какая горит не сгорает. Как на нее набредете, место вам будет. А ты, ездец, дружинник любезный, и там не проспи, землю свою от погибели стереги». Шли тако, шли, пока цветок перед ними зеленым огнем не вспыхнул. И деды сказали: «Вот она, зеленая звездочка, горит не сгорает, тут наше место, святая земля». С тех пор и живем.

— И землю свою стережете?

— Русскую землю, — уточнил Архип.

— А что тот всадник, ездец лихой?

— Ездец-то? Он главный воин. Мечом махнет — вражий

полк отшатнется. Поводья отпустит — конь через реку перенесет.

— Что же с ним стало?

— А что с ним станет? Пока поле живет, и ему придется. Охотников до нашей земли еще много. На Москву сквозные ворота. Надо тут крепко стоять.

Листов коротко взглянул на меня.

— Стало быть, он по-прежнему здесь?

— На бородинской земле, — подтвердил Архип.

— А что же его не видно? Где он хоронится?

— Зачем хорониться? — недовольно сказал Архип. — Не все глаза мозолить.

— Вот бы на него взглянуть, — сказал Листов. — Я бы поглядел на него с удовольствием.

— И поглядишь, — сурово сказал Архип. — Как будешь лежать на поле побитый, так поглядишь.

— Побитый! — с деланным разочарованием сказал Листов.

— Как ранетый упадешь, так смотри в оба, — продолжал Архип. — Он промеж вас поедет на белом коне.

— Что же он станет делать?

— Своих собирать.

— А кто у него свой?

— Тот свой, кто герой. Кто вперед всех жизнь свою не щадил, — сказал Архип. — Скажет им: «Вставайте, нет вам гибели. Будут еще сраженья. Сколько земля жива, столько и вам придется. Вставайте, вставайте!»

— И что же они, встанут?

— А как же? Хочешь не хочешь, вставай. А ну как еще кто походом на Русь двинет? Как думаешь, защищать надо?

— Надо, — засмеялся Листов. — А что же он остальное время делает, ездец твой, всадник? Сраженья-то не каждый день.

— Что делает? — Архип на мгновение задумался. — А что он делает? Живет, как все.

— Так, может, он где-то среди нас? — допытывался Листов.

— Может, — сказал Архип. — Всякое может.

— А стало быть, как бой начнется, он сразу туда?

— Этого знать не могу. Какие у него порядки. Сразу или не сразу.

— И в бою помогает? — продолжал Листов.

— Бьется, как все! — несколько раздраженно ответил Архип.— Что ты, мил человек, все расспрашиваешь? Нешто не веришь моему рассказу? Тогда у другого спроси.

— Верю, дедушка, верю,— примирительно сказал Листов.— Чего же спрашивать. Все равно твоего всадника никто не видал.

— Видали! — рассердился Архип.— Говорю тебе, на белом коне!

— Так ведь кто не на белом коне? Все генералы у нас на белых. Вон у поручика, посмотри-ка, тоже белый.

— А может, он и есть ездец сам собой,— с внезапной хитростью сказал Архип.— Рази признается? Нагрянули ко мне, пытаете. А я только то и скажу, что от дедов слышал.

— Записать бы эти легенды,— сказал Листов.— Малая деревенька, а свою историю сказками говорит. И в самом деле, какие имена у речек! Война, Колочь, Огник, Стонец. Нет, тут наверняка много крови пролито. Как мы мало знаем о нашей земле! Из Берестова они шли, говоришь?

— Деды-прадеды сказывали.

— Глядите, поручик,— Листов засмеялся,— может, и вправду оттуда ваша родословная?

— Однако начинать пора,— сказал Архип.

Он перебрал веревки, потянул одну, аккуратно обмотал вокруг ладони.

— Ну, Тихон Тихоныч, подавай голос! — качнул раз, еще раз, еще — и долгий, струящийся гул поплыл от колокольни, пронизывая небо и землю.

## 10

Перед церковью строилась колонна рослых гвардейских егерей.

— Егеря, с-смирна! Слушай, на пле-чо! Прямо, шагом арш!

Грянул полковой оркестр. Музыканты в белых крест-на-крест ремнях вскинули полосатые рукава с трубами и пошли первыми, гордо встряхивая красными султанами.

Листов поскакал в штаб с докладом, а я медленно поехал к биваку ахтырцев. У батареи Раевского я остановился. Офицер, с которым Листов разговаривал час назад, помахал мне

рукой. Он, видно, уже считал меня знакомым. Да и все кругом, как я заметил, обменивались замечаниями, говорили, не спрашивая имен. Всеобщим родством повеяло в армии перед большим сражением.

— Хотите чаю? — сказал офицер.

Несколько артиллеристов собрались в кружок у костра. Большой обгорелый чайник с кривым носиком сипел над огнем.

Внезапно на хорошем галопе подлетел всадник. Всколыхнулись золотые шнуры эполет. Генерал! Смуглое молодое лицо ослепило улыбкой, блеснули живые глаза.

— Здравствуйте, братцы!

Сидевшие вскочили.

— Сидите, сидите! — Он ловко спрыгнул с коня. — Я с вами малость передохну, с утра из седла не выберусь.

— Чайку, ваше превосходительство?

— Не откажусь. В горле давно пересохло. Как тут у вас, громовержцы? Все отладили?

Он подогнул ногу в блестящем черном сапоге и сел на нее, умудрившись не запачкать о землю белых лосин. Пил чай быстро, вприхлебку, остро поглядывая по сторонам.

— Приказ мой получили? Я, братцы, еще раз толкую: он будет давить, всей грудью полезет. Но боже вас упаси сняться с позиции! Картечью в упор, пока не сядет на пушки! Отдайте орудье, но всыпьте последний заряд! Мне толку от пушек мало, если будете, бегая, за собой их таскать.

— Гранат недостаток, — сказал кто-то.

— Этого подвезут. Жарьте картечью. Ежели перед вами батарея, старайтесь прислугу положить.

— Ура! Ура-а! — перекатилось совсем рядом.

— Светлейший едет! — Все вскочили.

Поодаль кургана вдоль батальонных линий медленно двигались всадники. Впереди на белой лошаденке грузно сидел Кутузов. Он остановился и стал смотреть в нашу сторону. Потом повернул коня и направился к батарее.

— Сюда, к нам! — заговорили офицеры.

Солдаты сбежались от пушек к палисаду.

Белой, коренастой грудью коня Кутузов медленно наезжал на батарею. Большое тело его колыхалось по бокам седла. Белая фуражка без козырька плотно нахлобучена на голове. За ним на расстоянии в несколько шагов ехала свита.

— Р-рота, становись! — закричал офицер. — Смирна!

— Александр Иванович,— сказал вдруг Кутузов неожиданно тонким и мягким на слух голосом.— Я тебя издали углядел, друг мой.

Кутузов был в расстегнутом сюртуке с полосатой георгиевской лентой и нагайкой через плечо. Он тяжело дышал. Несмотря на прохладный день, вынул платок, отер шею.

— Хорошо ли сделал высотку? Кто здесь над пушками?

— Полковник Шульманов, ваша светлость,— ответил генерал.

Кутузов оглядел батарею.

— Славно, славно устроил. Однако выпячена слегка. Карл Федорович! — позвал он.

Подъехал офицер на караковом жеребце.

— Распорядись к вечерку подвинуть Раевского и Дохтурова, пускай флангами сойдутся на батарее. Гвардейцев с артиллерией тоже подтяни.

— Слушаю,— сказал офицер.

Я знал, что Кутузов не всегда носит повязку на выбитом глазе. И все-таки это большое, книзу раздавшееся лицо, с одним как бы дремлющим оком, а другим и вовсе оставившим только белесую впадину, это лицо с печально и устало вскинутыми бровями удивляло одновременно чем-то детским и старчески умным.

Да и сама рана была необыкновенна. Пуля пробила навыворот голову, вошла под глазом и вышла в затылке. Казалось, до сих пор на лице сохранилось удивление: «Как это я остался жив после такой раны?..»

— Отсюда неплохо видать.— Кутузов повернул коня и стал разглядывать французскую сторону.— Однако не узнаю его, закопался по уши.

— Опасается,— сказал кто-то из свиты.— Зубы об нас поломают, а ну как потом добиваться станем?

— Зубы-то поломают,— согласился Кутузов.— Только добивать, боюсь, нечем будет.

— Глянь, глянь! — закричал солдат.— Братцы, орел!

Все закинули головы. В голубовато-белесом небе медленно и высоко парила большая птица.

— Хорошая примета,— заговорили кругом.— Это к победе.

Кутузов с трудом поднял голову и тоже смотрел из-под ладони.

— Орел в небе хорошо,— проговорил он.



Внезапно привстал на стремянах и с напряжением, так что покраснело лицо, крикнул зычно и тонко:

— А на земле орлы еще лучше! Так ли, дети мои, дорогие орлики?

— Верно, отец! Так, родимый! — наперебой закричали солдаты. — Не подведем, не сумлевайся!

Кутузов опустил в седло, наклонил голову и было тронул коня. Но вдруг обернулся к артиллерийскому генералу:

— У меня к тебе просьба, голубчик. Ты молодой, горячий.

Христом богом прошу, не лезь в пекло. Оставишь артиллерию без командира, что тогда буду делать?

— Слушаюсь, ваша светлость! — весело отвечал тот.

Это был начальник артиллерии генерал-майор Кутайсов. На том самом месте, где сказаны были эти слова, он упадет с простреленной грудью, не выполнив обещаний держаться сзади огня. Армия останется без двухсот пушек, забытых в артиллерийском резерве.

По какому наитию уже теперь, накануне сражения, Кутузов понимал эту опасность? Он что-то еще хотел сказать Кутайсову, но только кивнул головой и уехал. В небрежности его посадки, в спокойствии, с каким он поглядывал по сторонам, сквозило мучительное напряжение сил, и только рука сжимала и разжимала рукоять нагайки, висевшей через плечо...

Листов перехватил меня раньше, чем я доехал до бивака.

— Хорошая новость! — сказал он. — Сейчас говорил с младшим Тучковым. Он вас согласен причислить к штабу. Какая удача, что на него напал.

Сам Листов получил распоряжение Багратиона быть при командующем первой армией Барклае де Толли. Уже сейчас Багратион подозревал, что главные события развернутся на его фланге и ему придется просить подкреплений у Барклая. Чувствовал это и Барклай, перед боем командиры обменялись адъютантами для координации.

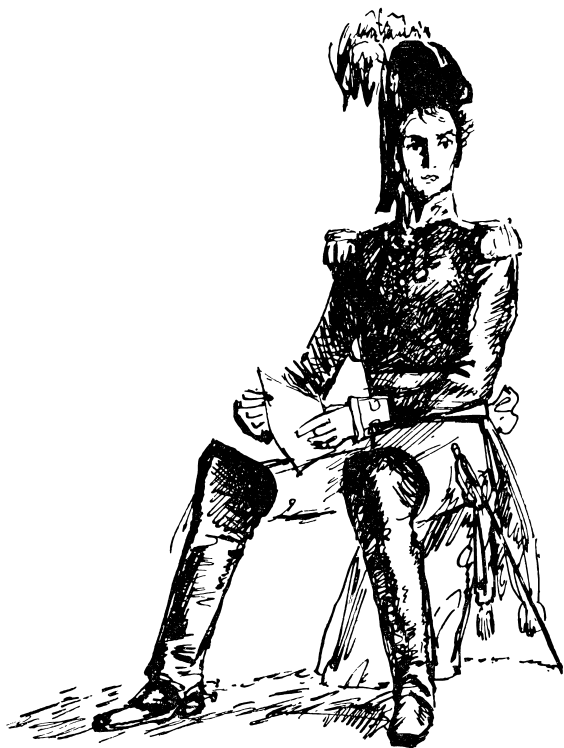
Мы поехали в самый конец левого фланга. Здесь разворачивался третий корпус Тучкова-старшего. Его младший брат, генерал-майор, командовал бригадой из трех полков. Тучковы жили на Пречистенке недалеко от Листовых. Листов был вхож в этот дом, а с младшим Тучковым установил хорошие отношения.

Значит, сейчас я увижу того, о ком мне рассказывал Артюшин, чьи глаза на портрете поражают печальной силой, в чью память будет стоять часовня на поле Бородино...

Но нет, он вовсе не был печален. Командир бригады встретил нас возле палатки. Он сидел на чурбаке и что-то писал, знаком просил подождать.

— Кашу, вино, за этим присмотри сам, — сказал офицеру. — Да чтоб не жгли костров на пригорках, пусть ищут ложбины. Караулы усиль, мало ли что ночью. Егерей после восьми спать.





Потом обернулся ко мне:

— Я знаю о вас. Бумаги у Кульнева задержались? Приятно встретить соратника по Финскому походу.

Ни грусти, ни ощущения предстоящей гибели, как на портрете, не было на его лице. Пожалуй, оно менее тонко, чем изобразил художник, но матовая ровность кожи, темные с янтарным проблеском глаза и как бы насмешливый очерк губ придавали ему неуловимое изящество. Говорил он быстро, любезно, не очень дожидаясь ответа.

— Первое дело снабдить вас бумагой. Мелентьев!

Подбежал адъютант.

— Заготовь мне на подпись приказ: «Сим удостоверяется, что поручик...» Берестов ваша фамилия? «...поручик Берестов назначается офицером по особым поручениям при команду-

щем». Пусть так и значится — «по особым поручениям», чем непонятней, тем у нас важнее. Делай, Мелентьев. Да скажи Музыченке, чтоб красивей писал, не то его в полк определяю за караули.

— А к вам у меня просьба,— сказал Тучков.— Адъютантством я вас не хочу занимать, этого у меня достаточно. Но вот я слышал, вы хорошо рисуете? Любите, говорят, на натуре делать наброски. Так у меня мечта есть давно — собрать живые картинки боя, чтоб прямо на поле они рисовались. Лихое дело, опасное. Художников под картечь не затащить, а нам, воякам, в бою не до этого. Послушайте, вы боевой офицер, пуль не боитесь, вам и грифель в руки. Саблей махать дело не хитрое, а вот среди свалки суметь до художества вознестись... Это ведь для самой истории. Ну как, согласны? — И, не дожидаясь ответа, сказал: — Грифели и бумагу вам тотчас найду. Возьмите солдата, коли нужно в помощь. А теперь, господа, извините, у нас передислокация. Обедать, если желаете, приезжайте в Ревельский полк, я там через два часа буду.

Скоро мы уже ехали к Семеновской. Полки третьего корпуса в это время поднимались для перемещения вправо.

Это было то непонятное движение, о причине которого только через год, да и то случайно, узнал Кутузов. Дело в том, что за полчаса до нашего приезда к Тучкову здесь побывал начальник главного штаба генерал Беннигсен. Он приехал с адъютантом и нашел, что на левом фланге слишком большой разрыв между флешами и третьим корпусом.

По странному стечению обстоятельств Беннигсен не знал, что Кутузов поставил здесь третий корпус не случайно, а под прикрытия холма, чтобы сбоку ударить по французам, которые хлынут как раз в коридор между флешами и третьим корпусом.

Поспорив с Тучковым-старшим, который тоже не знал, что его корпус стоит в засаде, Беннигсен заставил передвинуть все двенадцать полков на открытое место по склону холма.

Французы быстро заметили новую группу войск, и Наполеон внес поправки в диспозицию, подкрепив Понятовского корпусами Даву и Нея...

Мы ехали через розоватый березовый лес, освещенный вечерним солнцем. Вдруг я подумал, что могу вмешаться в события. Могу, как бы ненароком, сказать все Листову. Он по-

едет в штаб и прояснит неразбериху. Еще не поздно остановить движение корпуса, еще не поздно оставить его в засаде, и, может быть, тогда завтра все повернется иначе. Польский корпус, который стоит сейчас гораздо правее, чем будет стоять завтра, кинется в атаку на флешу. Тучков ударит ему во фланг, опрокинет. Под удар попадут Ней и Даву, весь правый фланг французов окажется в трудном положении. Что тогда?..

У меня дух захватило. Наполеон опрокинут, французы бегут, Москва в безопасности. А дальше, что дальше? Куда повернет история?

Но если вовсе не так? Все говорят про слабость левого фланга. Допустим, Тучков останется в засаде. Значит, крыло кончается на Семеновских флешах, а против него сразу три корпуса отборных французских войск. Они навалятся, наши не выдержат, а Тучков опоздает с фланговым ударом. Например, ему помешает березовый лес и овраг. Что же тогда? Сражение проиграно?..

У меня даже лоб вспотел. Искушение вмешаться в историю грозило стать палкой о двух концах. А кроме того, неужели вот так, одним махом, можно перевернуть все вверх ногами? Ведь за иным исходом битвы неминуемо последует иной ход войны, иное развитие жизни, все иное... Нет, невозможно! Да и позволит ли сделать это сама история? Мучительное чувство. Сознание своего могущества и беспомощности одновременно. А больше всего понимание, что ты отвечаешь за многое. Быть может, за все?..

Армия готовилась к бою. Вокруг ружейных козлов сидели солдаты, они чистили мелом штыки, белили португезы и перевязи. Кто переодевался в чистую рубаху, кто зашивал ниткой прореху, кто менял кремль в ружейном замке.

Кавалеристы скребли и мыли лошадей, кормили их дробью, точили палаши, сабли, заряжали карабины и пистолеты. Артиллеристы доводили до жаркого блеска орудийные дула, смазывали дегтем винты и колеса.

Повара варили кашу в огромных котлах, из бочек наливали в кастрюли вино, добавляли перцу и грели на кострах.

В больших палатках лекаря раскладывали бинты, корпию и компрессы, стальные ножи, пилки и щипцы, готовили уксус и спирт. Рядами стояли пустые телеги для раненых.

Почти все войска заняли свои места, но некоторые батальоны еще передвигались. Ополченцы насыпали последние бруст-

веры, сколачивали мосты и заравнивали канавы. Стук работы уже затихал.

Вечер красным огнем заката обнял Бородино.

— Кровушка наша на небо просится,— сказал кто-то.

Листов приводил в порядок оружие. Я тоже достал свои пистолеты. Листов стал их вертеть.

— Хорошие у вас пистолеты, арабские.

— Ваши хуже?

— Мои заводские. А ваши искусного мастера, вот его клеймо. В Европе таких уже не много делают. Хуже всего французские, часто дают осечки. Тульские наши добрее, да и бьют дальше.

После ужина я завернулся в шинель и лег на солому. Листов устроился рядом. Воздух похолодел, запахи стали острее. Веяло скошенной травой, полем, а с неба чем-то кристально чистым, как бы началом всех запахов.

Низкие облака закрывали часть небосвода, и костры доставляли их своим красноватым огнем. Даже отблески там колыхались. Зато в проемах чернота стояла особенно ярко, и пронзительные уколы звезд горели с болезненной силой.

У соседнего костра тихо говорили солдаты:

— Слышь, Анисим, а чего такое звезды, как соображаешь?

— Звезды?.. То окошки небесные, смотрят оттедова к нам.

— Кто смотрит?

— Мобудь, ангелы али еще какие созданья.

— А я так разумею, что это разбилось чего наверху, осколки серебряные летают.

— Да чего разбилось, голова? Нешто горшки там глиняные?

— А ты комету зимой видал?

— Как же, видал. Важная штука.

— Видал, какой ейный хвост? Это метла небесная, летит, подметает. Чего же ей тогда подметать, как не осколки?

— Осколки! Эх, голова. Да рази горшки там глиняные? Небо, она, стучи по ней топором, не бьется, потому — всегдашняя вещь!

Помолчали.

— Бабье лето кончается, братцы.

— Завтра овес косить, Наталья-овсяница...

— А тут овес хороший. Кабы не стоптали, добрый тут овес.

— Слышь, Анисим, а все ж ты про звезды скажи. Чего они душу терзают? Влекут куда-то, чегой-то шепчут?

— Эх, голова! Кабы я знал... Говорю, то глаза небесные.

— Страсть как горят — насквозь прожигают.

— Жалеют тебя, дурачка. Небось завтра без головы останешься. С женой-то попрощался?

— Как, тоись? Я пять годов дома не был.

— Ну, про себя? Про себя-то сказал ей, прости-прощай, женка, ясная голубушка. Больше не свидимся, живи-поживай, мужа помни.

— А... Это поспею. Как душа отлетать станет, так и скажу.

— Да... — вздохнул кто-то. — Баба вроде и никудышная вещь, а прямо в сердце стоять, куды от ей денешься...

— Никудышная! На бабе свет держится...

Завтра битва. Я лежал, и не мысли, а вереница обрывочных воспоминаний текла в глубине сознания. Сменялись лица, прошлое мешалось с настоящим, проблескивало будущее, и все вертелось, говорило, мелькало...

Я вспомнил ночь на той же даче, где впервые увидел Наташу. Только было это через год. Куда-то разъехалась, разошлась компания, мы остались одни. Догорел последний свечной огарок, осенняя темнота подступила к окну.

Она лежала, завернувшись в одеяло. Я сидел на краешке топчана. Что-то взвизгнуло и ухнуло в дальнем лесу. Она спросила:

— Ты никогда не боишься?

— Бывает, — ответил я тоном бесстрашного человека.

— Например, если в темном лесу?

— В лесу не боюсь.

— Ты был в лесу ночью?

— Несколько раз.

— И не боялся?

— Кого бояться в темноте? Никто тебя не видит. Если часто ходить, просто привыкнешь.

— Я бы никогда не привыкла. Я даже по темной улице не могу идти.

— Это пустые страхи, — сказал я небрежно.

— А с тобой не боюсь. Я даже могу пойти в лес, если хочешь.

— Зачем?

— Просто пойти туда ночью. Чтобы рядом был ты и я не боялась. Мне кажется, я не испугаюсь нисколько.

— Я покурю.

— Только приходи быстрее, а то здесь темно.

Я вышел и сел на крыльцо. Смутная луна оставила тень на серой траве. Я представил, как она спрятала подбородок в теплое одеяло, согнулась уголком. Небо огромно и пусто. Звезды едва проступают невзрачной беловатой мошкой. Чернеют силуэты сосен. Я ждал, что залает собака, но темнота молчала. Я снова представил ее спящей и ночную пустыню вокруг. Только обломок луны. Я поежился, сделал две затяжки, но холод не проходил. Я смял сигарету и быстро пошел в дом. Почудилось, что кто-то смотрит мне в спину, кто-то ждет за кустами. Я рывком закрыл за собой дверь.

Она уже засыпала. Я сел на кровать, хотел что-то сказать ей, но только погладил волосы. Она придвинулась ближе, уткнулась головой в мое колено...

Теперь я лежал и смотрел на звезды. Они были те же, что в первую ночь на бородинской земле. Те же, что в ту ночь на даче. И это говорило о единстве всего, и прошлого и настоящего. Я снова искал свой огонек среди тысяч, усеявших небо. Быть может, тот, розоватый и слабый? Или другой, ледяная крупинка? А может быть, тот, пронзительный, как игла, или мягкий, цветочно округлый? Горели зеленоватые, голубые, с лимонным, сиреневым, палевым — любым оттенком, но все одинаково зеркальные, то ясные, как бы протертые, то притуманные дыханием пространства.

Они над временем, эти блестящие колышки жизни. Мы прикованы к ним глазами, сердцами. Сколько глаз устремлено сейчас в небо? Где-то рядом со мной не спят прапорщики Пестель и Муравьев-Апостол. Не спят поэты Жуковский и Чаадаев, они тоже здесь, в Бородино. Не спит Кутузов, не спят солдаты и генералы. И, может быть, именно в эту минуту поручик Огарев пишет в записную книжку слова, которые я прочел еще в дни жаркого московского лета: «Сердца наши чисты. Солдаты надели чистые рубашки. Все тихо. Мы долго смотрим на небо, где горят светлые огни — звезды...»

Сердца наши чисты... Горят звезды. Великое таинство Бородинского боя уже готовится к свершению, и начинается оно в наших сердцах.

# Часть третья

*Вам не видать таких сражений!*

М. Лермонтов

## 1

Утром еще до света я услышал, как поднимаются полки. Костер наш погас, только слабо дымил. Я продрог: ночь была мокрой, холодной.

Белесый неровный туман качался над биваком. Фигуры солдат сновали, как тени. Негромкий разговор, топот, всхрапы коней. Потянуло запахом каши от большого костра. Негромко бряцало оружие. Я попытался сделать что-то вроде зарядки.

— Примерз, ваше благородие? — спросил кто-то ласково. — Ишь размахался, как крыльями...

Другие засмеялись. Говорили между собой мягко, вполголоса. По всему полю шел сдержанный многоликий ропот. Даже переключка велась негромко. Раздавали сухари и чай.

Листов подвел оседланных лошадей.

— Я сейчас в штаб, а потом к Барклаю. Хотите со мной?

— А к Тучкову я должен рапортоваться?

— Сейчас ему не до вас.

Мы подъезжали к штабу, как вдруг что-то блеснуло и бухнуло вдали. «Сейчас начнется», — подумал я. Но нет, тишина. Листов, придерживавший коня, снова тронул его.

— Тявкнул и замолчал,— сказали в колонне.

— Задирает,— добавил кто-то.

Когда Листов вышел из штаба, раздались подряд еще три выстрела. Уже светало, но туман не сходил. Белка тревожно прыдала ушами.

— Теперь на батарею,— сказал Листов.— Чего же наши не отвечают?

Не успел он сказать, как гораздо ближе, чем первые, грохнули новые пушки. Целый перебой вспухающих мощных ударов прокатился впереди по линии. Дрогнула земля, дернулись лошади. Казалось, туман затрясся и оттого стал светлеть и распадаться.

— Пошло! — крикнул Листов.

Что-то с шуршанием пронеслось мимо и отбросило упругую струю воздуха. Ядро, подумал я с изумлением. Мы пустили коней в галоп.

На батарее Раевского туман уже спал. Он осел в низину Колочи и стоял там, как в блюде, захватив часть деревни и растекаясь в сторону неприятеля. Позади нас красноватой полосой накалялось небо, а сверху оно было чистым, только два-три ярко-розовых облака висели над нами.

Бух! — выскакивал по-над туманом белый клуб, висел мгновение, а потом расходился. Что-то невидимое бороздило воздух, треснуло над головой, и фонтан взвизгиваний обдал землю. Черный бестолково вихляющий шар прокатился совсем рядом.

На батарее, пританцовывая, съезжаясь и разъезжаясь, с блеском золотого шитья и колыханием перьев, толпилась свита генерала Барклая. За ночь подсыпали бруствер, и теперь он был гораздо выше рослых канониров.

Батарея мерно и деловито била в сторону Валуева. С гулким лопаньем пушки подпрыгивали и откатывались назад. Канониры накатывали их снова, забивали заряд.

Листов подскакал к Барклаю и, приложив два пальца, рапортовал. Барклай, неподвижно-торжественный, с красной лентой через плечо, весь в орденских звездах и ромбах, слушал Листова, чуть наклонив голову и прикрыв веки.

Лошади остальных вскидывались и пританцовывали, но конь Барклая стоял почти неподвижно, я заметил, как он сдерживает его незаметным пожиманием шпор.

Сзади хрястнуло, раздался вскрик, кто-то осел вместе с лошадью. Барклай не повернулся. Упавший выбрался из-под





убитого коня и, страдальчески кривя лицо, подошел к Барклаю.

— Ваше превосходительство...— начал он.

— Прикажите подать другую лошадь,— хладнокровно сказал Барклай.

Листов отъехал ко мне.

— Ну,— сказал он,— дай бог. Пока артиллерия да егеря, но скоро колонны пойдут.

Да, егеря. Они всегда начинают. Еще тогда, читая о двенадцатом годе, я полюбил егерей. Мне нравился их скромный мундир, мне нравилась их лихая песня: «Ну-ка, братцы егеря, егеря! Начинаем мы не зря, эх не зря!»

Я знал, что сейчас, пока канонада идет по фронту, они

рассыпаны в цепи впереди батальонов и, притаившись за бугорками, кустами, спрятавшись в шанцах, держат наизготовку свои штуцера, чтобы прицельным огнем встретить французов.

Егеря — легкая пехота. Невидимой пружиной они держат сейчас готовую к атаке французскую армию и первыми встретят ее натиск.

Напротив батареи, в Бородино, тоже егеря, гвардейский полк Бистрома. Туман отодвинулся на границу деревни и скрыл наступавших французов.

Листов подъехал к Барклаю:

— Ваше превосходительство! Егеря как в ловушке! Если ударят по ним с двух сторон, отойти не успеют.

— Вижу,— сказал Барклай и бросил на Листова любопытный взгляд. Потом обернулся к свите: — Павел Андреевич, пошлите к полковнику Бистрому. Скажите, чтоб выводил егерей, да чтоб мост за собой сожгли. А Вуичу прикажите, чтоб подтянулся и прикрыл.

— Позвольте мне! — сказал Листов.— Я место хорошо знаю.

— Поезжайте.

Листов поскакал вниз к реке, я за ним. Простучали доски моста, и мы в Бородино. Солнце уже показало свой край, туман за церковью стал бронзоветь. Оттуда блеснула дробная вспышка и беспорядочный треск присоединился к общему гулу. Что-то хлестнуло как бы прутом над ухом, еще и еще. Французы начали атаку Бородино.

Наклонив мохнатые кивера, они надвигались из тумана небыстрым шагом. Блестела гребенка штыков, мерная барабанная дробь теребила воздух. Казалось бы, в грохоте пушек нет места другому звуку, но барабан, трескотня выстрелов и даже простые слова хорошо выделялись поверх канонады.

— *Avancez!* — кричали совсем близко французы.— Вперед!

Я завертелся с конем в отходящей колонне. Пронеслись пушки, их первыми отводили за реку.

Чивык-фюить-пии!.. — пело над ухом. Свинцовая мошкарка с птичьими переливами носилась кругом, беззаботно впиваясь в тела.

— Господи Сусе Христе! — пробормотал кто-то рядом и уткнулся лицом в землю.

— С оглядкой, ребята, с оглядкой! — кричал унтер-офицер, размахивая тесаком.

Колонна втиснулась на мост. Сзади напирали, передние

не успевали выбраться на другой берег. Французы, добежав, тоже столпились сначала, потом растеклись и открыли пальбу по мосту. Не унимался их барабан. Увидел я барабанщика, он стоял один, бешено колотя в яркий продолговатый бочонок.

Вперебой шелкали выстрелы. Егеря сумрачно и беззвучно толпились на мосту. Взмахивая руками, падали в Колочу люди. Здесь они стали живой мишенью. Лучший егерский полк погибал в самом начале боя. День начинался с неудачи, и с какой неудачи!

Кто-то сидел верхом на перилах и методично стрелял, заряжал и снова стрелял, пули его не трогали. Французы надвигались, охватывали дугой и вплотную к воде стреляли с колена по мосту.

Белка прыгнула с берега прямо в реку. Здесь было неглубоко, но все же вода поднялась до седла.

— Бродом! — закричал я. — Здесь брод есть!

Но меня не слышали.

Какой-то француз с юным, почти мальчишеским лицом тщательно целил в меня с берега, но не попал, хотя между нами не было и тридцати шагов.

Листов уже на этой стороне. Он крутился на Арапе перед колонной солдат и что-то кричал офицеру.

— Не умеете воевать, не лезьте, молодой человек! — рявкнул офицер и, обернувшись к колонне, крикнул: — За мной, братцы, ура!

— Ура-а! — отчаянно закричали солдаты и неровной толпой кинулись вниз, на мост, который уже запестрел французской пехотой. Это были егеря из бригады Вуича.

Французы успели развернуться на ближнем берегу, но удержаться им не удалось. Нахлынули егеря, навалились, облепили. Крик, свалка! Французы посыпались с крутого берега в реку, егеря взяли мост, и бой перекинулся на ту сторону.

— Ура-а! — гремело в деревне.

— Назад! — кричал офицер. — Осаживай, братцы! Не забегай!

— Павленко, солому на мост!

Труба заиграла отбой. Распаленные егеря возвращались назад. Французы отхлынули за околицу. Какой-то офицер в синем мундире с расшитой серебром грудью сидел на земле и морщился, прижимая к лицу тонкий платок. По щеке текла кровь.



— Важная птица! — говорили солдаты. — Кто его взял? Веди в штаб.

Первые убитые. Они лежали странными горками, не похожими на тела, так неестественны были позы. Кто вывернув руку, кто вниз лицом, кто в обнимку с врагом. Белесая дымка боя оседала на них. Застеленный убитыми берег Колочи сразу принял значительный, строгий вид. Наверх к батарее тяжело брели раненые.

— Зажигай!

— Не горит, мокрая, ваше благородие!

— Порох подсыпь!

— Не горит, ваше благородие!

Французы снова подступали к реке. Кто-то скакал перед колоннами, махая шпагой, сверкая серебром пышного мундира.

— Петров!

— Здесь Петров!

— Снимешь вон того павлина?

— Больно далеко, ваше благородие! И не спокойный, гужется!

Круглолицый безусый Петров становится на колени, прижимает штуцер к щеке, щурится.

Штуцер — зависть солдата. Только егеря, да и то лучшие, получают его в руки. В штуцере винтовая нарезка, он бьет на тысячу шагов, а пехотное гладкоствольное только на триста.

Петров целится. Выстрел. Всадник на том берегу едет все так же.

— Эх, не попал! Далеко.

Всадник едет и вдруг начинает валиться. Его успевают подхватить и снять с седла.

— Попал! — Петров вытирает нос и радостно смотрит на командира.

— Молодец, представлю! Поди, капитана снял или майора.

Петров «снял» генерала Плозонна. Это был первый французский генерал, убитый в Бородино.

Отчаянный крик:

— Да что же мост не зажгете, раззявы! Сейчас снова напрут!

— Двоих положило, не горит! Пуля проползть не дает, и солома мокрая!

— Дозвольте мне! — Невесть откуда взявшийся ополченец в сером зипуне хватает факел и зигзагом бежит к мосту. Там он ложится и ползет среди убитых.

Французы отчаянно палят.

Ополченец исчезает за ворохом соломы, и через минуту-другую начинает валить дым.

— Эх, вы! — говорит офицер. — Простой мужик пример доставляет.

— А чо? — возражает солдат. — Мы не мужики нешто?

Ополченец бежит, пригибаясь, назад, а по мосту прыгает низкое красноватое пламя.

— Чичас пыхнет. Павленок там пороху подложил.

Мост разгорается. Ополченец с радостно-оживленным ли-

цом подбегает ближе, и я узнаю... да, это он, конечно. В ополченце я узнаю драгуна Ингерманландского полка и участника московских моих приключений Федора Горелова.

## 2

Грохот, грохот стоит над Бородино. Бесперывный, разноликий. Сотни оттенков в этом гуле. То жалобное повизгивание, то басовитое гудение. То вроде трещотки пробежит по небу, то все оно разом содрогнется. Птичье цвиньканье пуль, шуршание ядер, стон картечи. Звон, стук, удары, чавканье, лязг, жужжание. Людские крики, храп лошадей.

Мы с Федором укрылись в ложбинке позади батареи. Артиллеристы называют ее Шульмановой по имени командира. Пехота пока не называет никак, но знаменитой она станет под именем батареи Раевского, здесь стоит его седьмой корпус.

Я снял сапоги и вылил воду.

— Как же ты, Федор, тут очутился?

— В ратники записался.

— Что ж ты меня тогда не дождался?

— Вы уж на меня не гневьтесь. От радости ошалел. Как Настя вышла, так и погнал лошадей.

— Где ж она теперь?

— В деревню отвез. А сам решил в ополчение податься, никак нельзя было в полк.

— Да и сюда, может, не стоило? Скрылся бы где, переждал.

— Нельзя нам пережидать, не то время. Как же пережидать? Нельзя, нет, нельзя...

Федор записался в московское ополчение уже здесь, в Бородино. Принимали до самого боя.

Вчера я видел палатку, украшенную оружием, фруктами, цветами. Там на столе зеленого сукна лежала книга в красном бархатном переплете. В нее записывались имена добровольцев.

Они тянулись к Бородино до самого вечера — крестьяне, ремесленники, студенты. «Жертвенники» их называли. В разной одежде, только шапки у всех одинаковые — с медным крестом, с каким попало оружием и вовсе без него, ополченцы

имели наивно-торжественный вид. Солдаты над ними посмеивались и ласково опекали.

Вчера с утра и до ночи, белея рубахами, ратники строили укрепления. Они не умели ходить строем, стрелять и выполнять команды. Большая их часть осталась в резерве, а несколько тысяч рассыпались с началом сражения по всему полю, помогая солдатам чем можно. Носили раненых, подавали заряды, растаскивали исковерканные фуры, ловили испуганных лошадей. А когда падал егерь или гренадер, ратник подбирал его оружие и, перекрестившись, становился в первую линию.

Среди этих нескольких тысяч, почти целиком polegших на поле боя, не отмеченных в списках потерь, не помянутых чугунной доской или гранитом, среди этих безвестных «жертвенников» и был мой Федор.

— Немец тот здесь,— говорит он неожиданно.

— Какой немец?

— Который из Воронцова.

— Леппих?

— Он самый.

— Где ты его видал?

— В утицком лесе, вон там, с самого края, почти у дороги. Мы там укрепление копали. Чегой-то опять задумал. Приехал о трех лошадях, а сзади еще вроде зарядник от единорога.

Стало быть, и Лепихин добрался. Я сел на Белку.

— Ну, Федор, прощай. Где воевать собираешься?

— При батарее. Я тут прижился. Ежели что, и банник могу в руки взять, пушкам тоже обучен.

— Счастливо!

Он поклонился низко:

— И вам хорошей дороги. За Настю уж как придется: ежели смогу — отблагодарю, ежели нет — поклон хоть примите.

— Настю я хотел спросить об одном деле. Если в живых останемся, ты уж сведи меня с Настей.

Я поскакал на батарею. Где Листов? Свиты Барклая уже не видно, пальба идет еще жарче. Солнце выкатило над горизонтом и косо, парадным оранжевым светом обдает дымную, блистающую картину боя.

Флеши, подумал я, туда. Сейчас французы начинают, если уже не начали, первую из восьми атак. Вот где самое пекло.

От батареи до флешей километра четыре. По сути, флеши стали центром нашей позиции, заслон на Старой Смоленской

дороге левым, а батарея Раевского правым флангом. Правее, где стоял Милорадович, кроме артиллерийской дуэли и отвлекающих кавалерийских атак, важного не происходило.

Флеши сгущились треугольником, две ближе к французам, одна чуть в глубине. Это были слегка приподнятые площадки с пехотными рвами и земляными брустверами. На этом месте я ночевал в Бородино, на этом месте проснулся в двенадцатом году.

Я прискакал, когда первая атака французов сорвалась в самом начале. Дивизии Дессе и Компана попытались атаковать колоннами, но были расстроены картечью и фланговым огнем егерей.

— Важно! — кричали солдаты со смеющимися лицами. — Молодцы, заступники, отхлестали хранцев!

— Подожди, — отвечали артиллеристы. — Это забава. Это он красуется. Сейчас так наплет, что смотри. Штаны-то у вас белые.

— Не бось! Не запачкаем! — кричат гренадеры.

Они стоят в две линии: первые батальоны впереди, вторые чуть сзади. Это гренадерская дивизия Воронцова.

— Трубят, глянь!

На опушке леса опять строятся французы. Подъехала и развернулась их батарея.

— Братцы! — кричат гренадеры. — Артиллеристы! Дай-ка ему щелчка!

Французские пушки открыли огонь, и это сразу сказалось. То ядра летели издали вразброд и только случайно попадали в каре. Теперь черные шары запрыгали по флешам. Канониры забегали быстрее.

— Две линии сбавь! По батарее, пли!

Взорвался пороховой ящик, дохнуло черным жаром. Ядро цокнуло в пушку и с бешеным верчением метнулось вбок. Пали люди. Теперь их не подбирали, некогда было. Все с напряжением смотрели на плотную массу колонны, шагавшую с барабаном на fleши.

— Первое орудие по правой колонне! Второе и третье по левой!

С пронзительным пиликаньем флейты, качая знаменами, французы все ближе и ближе. Пушки на флешах исполняют неуклюжий танец с прыжками, катанием туда-сюда, изрыганием пламени, дыма.

— Картечью, пли!



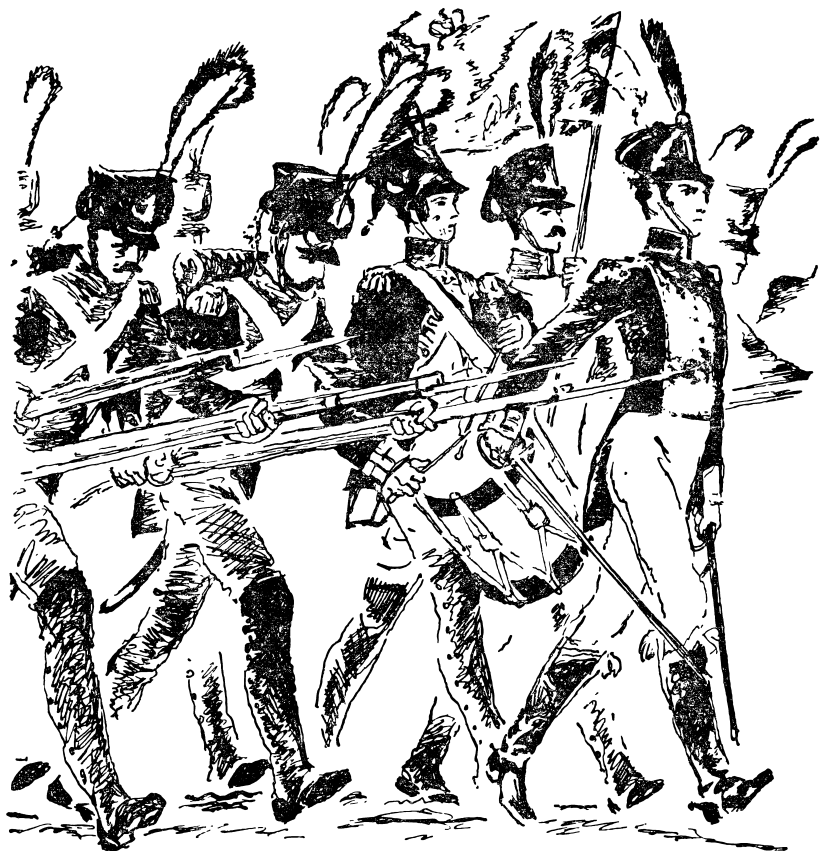


В колонне замешательство, легкий разброд, она почти останавливается. Сейчас побегут! Но нет, сбились плотнее, офицеры машут шпагами, пиликание флейт и барабан еще резче, и снова идут, идут, как против ветра, наваливаясь грудью на град свинца, падая, сменяя друг друга.

— Лезут! — кричит солдат. — Лезут, ах, черти!

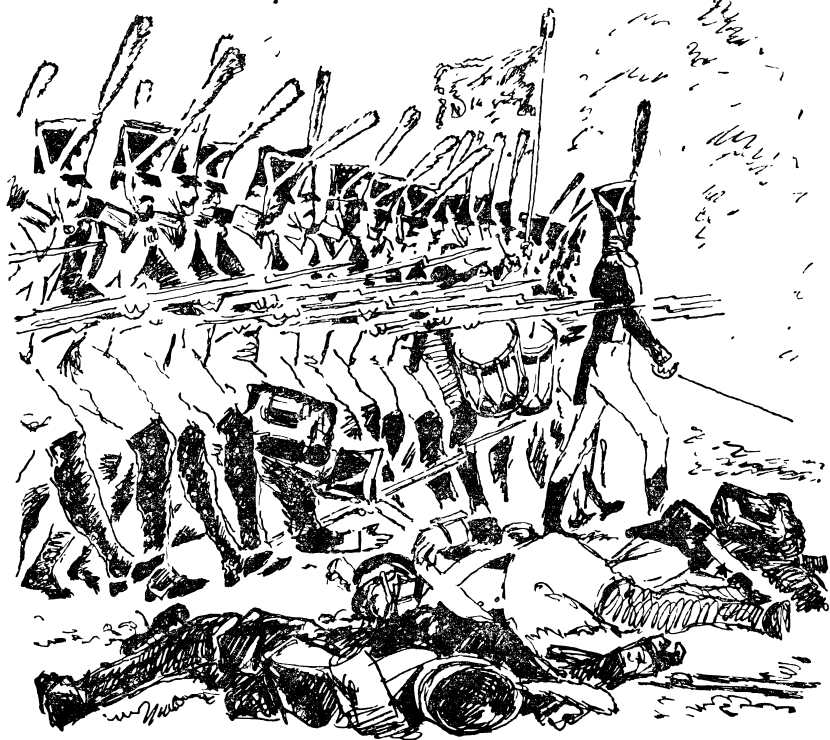
Шеренги все ближе и ближе, с перекатым треском окутываются дымом; залп по флешам — и вот уже бегут, наклонив штыки, рассыпавшись вширь. Мелькают белые гетры и красные эполеты.

С красными потными лицами, разинутыми ртами кидаются



на батарею, лезут на бруствер. С другой стороны с криком «ура!» врываются гренадеры. Флеши превращаются в гладиаторский круг, солдаты смешались в поединках. Артиллеристы дерутся банниками. Лязг штыков и сабель, вопли, проклятия, беспорядочная драка. Французы отодвигаются. С музыкой, ровно, красиво идет батальон. Достигает толпы дерущихся и тоже кидается в схватку. Откуда-то вырываются кавалеристы, рубка с яростным блистанием сабель, храп и ржание лошадей, клубы пыли, но все это дальше и дальше от флешей...

Вторая атака отбита. На батарее растаскивают завалы.



Пушка села набок, ее поднимают на руках, ставят новое колесо. Стонут раненые. Офицеры собирают батальоны, прерывисто-напряженно кричит труба. Гренадеры опять строятся в каре, подбегают солдаты из вторых батальонов, впереди много потерь.

— Давай, давай, братцы! Отдыхать дома будем!

У французов тоже бурление, они готовятся к новой атаке. Наши канониры налаживают стрельбу, у них поредели расчеты. Лихо подлетает конная батарея.

— Батарея, стой! С передков долой!

Пушки разворачиваются и начинают бить по французам, а те плотными массами снова надвигаются на флешы. Третья атака!

Что-то есть одуряюще монотонное в этих атаках. Только что шли, отхлынули, засеяв поле телами, и снова идут, будто ничего не случилось. Идут широким фронтом, в несколько колонн, за колоннами кавалерия. Огромный квадрат войск наступают на флешы.

Гренадеры, все сплошь усачи, в белых ремнях крест-накрест, набычившись, исподлобья глядят на французов. Их каре похожи на маленькие крепости: с какой стороны ни подступись — штык и пуля. Первая шеренга дает залп и опускается на колено, стреляет вторая шеренга.

Французы пытаются обойти батальоны. Они развернулись лавой, конница хлынула по бокам, но гренадеры стоят как вкопанные. Все поле снова кишит сражающимися. Конники носятся между пешими. Сзади контратакует наша пехота. Какой-то генерал на коне гарцует в гуще войск. Уж не Багратион ли?

Я бестолково мечусь на Белке между кричащими, дерущимися солдатами. Французский улан промчался рядом, махнув саблей так, что свистнуло в ухе. Два пехотинца катаются по земле, бестолково дергая друг друга за одежду. Мимо бегут в разные стороны. Наконец все сметает волна кавалерии. Это наши кирасиры. С воздетыми палашами, в блестящих касках, они врезаются во фланг подходящим французам, теснят, опрокидывают. Бой начинает отползать к лесу.

— Ох ты маменька родная, — бормочет солдат. — Кажись, отразили.

Издали вижу штабную свиту. Оттуда выскакивает всадник на черной лошади. Это Листов, он забирает ко мне.

— Ну как, погрелись? Я к Тучкову за помощью!

Подъезжает ближе.

— У Тучкова еду просить батальоны. Да он упрямый, раз десять ему скажи. Слушайте, поезжайте за мной с перерывом. На левый фланг, к Тучкову-старшему. Говорите: приказ князя, отрядить дивизию.

— Да разве он вас не послушает?

— Кто его знает! Приказом он Багратиону не подчинен, да еще в плохих отношениях. И вдруг у него самого жарко? Уже посылали, а полков нет. Так вы скачите за мной и просите дивизию на флешы. Вместе, глядишь, уломаем.

Листов дал шпоры и ускакал. Потом поехал и я. Перескакивая через убитых, Белка мчала меня от флешей, где французы, яростно обмолачивая землю ядрами, готовили четвертую атаку.

### 3

Через березовый лес я выехал на дорогу. Впереди вой, грохот, правда, потише, чем в центре. У каждого встречного спрашиваю:

— Где штаб третьего корпуса?

— Там, там! — все машут рукой.

Наконец на вершине холмика вижу палатку и генералов. Тучков-старший, узнаю его по портретам, расхаживает впереди. Я прыгаю с Белки.

— Ваше превосходительство!

Он даже не оборачивается. Ядро падает совсем близко и вертится волчком. Тучков задумчиво смотрит на него.

— Ваше превосходительство! Из штаба второй армии! Командующий просит дивизию!

Тучков как бы с изумлением смотрит на меня.

— Опять дивизию? Да у вас одних адъютантов дивизия. Скачут через минуту. Поезжайте, поезжайте, милостивый государь.

— Ваше превосходительство! — снова начинаю я.

— Что-о! — вдруг кричит Тучков, и холеное лицо его передергивается. — Какая дивизия? А я с чем останусь? Кругом марш! — Но тут же добавляет спокойно: — Поезжайте, поезжайте, сами тут разберемся.

Несолоно хлебавши скачу обратно. Целый рой пуль вспархивает со всех сторон. Белка шарахается, и я попадаю в глухой кустарник. Выезжаю, обдираясь об сучья, овраг преграждает путь. Я забираю в сторону и натываюсь на повозку, танцующих лошадей и человека, пытающегося проташить их сквозь заросли. Лепихин!

— Берестов! — закричал он яростно и почти раздраженно. — Куда вы пропали, черт побери! — Словно мы только что расстались.

Он продолжал беспорядочно дергать узду, но лошади окончательно запутались. Повозка застряла в лесной канаве.

— Опаздываю! — говорил Лепихин. — Приехал вчера поздно, думал место тут подыскать, а утром встал — безнадежно. Хочу выбраться. Время, время идет! Не позже полудня я должен подняться!

— Куда?

— В воздух, черт побери, в воздух! С большим шаром не вышло, зря только торопили. А с маленьким все готово, осталось место найти.

— Вы хотите подняться в воздух?

— Я поднимусь! Было бы откуда. Нужна поляна с деревьями по бокам, а здесь заросли, да и березы малы. Мне нужно повыше, покрепче.

— Вы здесь один?

— Конечно. Еле сбежал. Позавчера Ростопчин заставил поднимать большой шар, к сражению хотел поспеть. Да, конечно, не вышло, куча недоделок. А маленький я готовил тайно, он мне для опыта нужен.

Шррр! Что-то пробороздило верхушки деревьев и ударило в ствол.

— Ага! Сюда достает. Мне надо место потише.

Лепихин вытер мокрый лоб.

— Давно жду большого сраженья. Все у меня готово, приборы и аппарат. Только подняться, а там...

— Какие у вас приборы?

— Это дети мои. На одну горелку два года ушло. Хрономосы и соляриты, ах да чего там! Сами увидите. В воздух вас не возьму, аппарат на одного. Но вы мне поможете при подъеме. Сейчас вот отсюда отъедем...

— Послушайте, — сказал я, — время ли сейчас для вашей затеи?

— Что? — сказал он. — Затеи? Да, время! Самое время! Другого времени не бывает. Я чувствую его пульс. Вы слышите, как оно напряглось? Как гудит каждая струнка? Сколько решается в эти часы! Пульс времени здесь проступает! Оно убыстрено, сдвинуто, оно обнажилось, и только здесь можно поймать его за хвост.

— Да как вы собираетесь это сделать?

— Сами увидите. У меня десятки приборов, только нужно поднять их повыше, туда, где излом временных пучков. Здесь место горячее, очень горячее. Это как в пустыне мираж. Там света лучи искривляются, а здесь лучи времени. Сегодня или никогда, я вам говорю!

Все это он выкрикивал, бегая вокруг повозки, кидая сучья под колеса, дергая лошадей.

— Ну что же вы стоите! Помогайте!

Кое-как мы вытолкнули повозку из ямы.

— Если поедете вдоль оврага, а потом повернете налево, не доезжая деревни, увидите то, что вам нужно,— сказал я.— Там есть дубовая роща.

— А вы?

— У меня поручение.

— Как? — закричал Лепихин.— Вы не желаете мне помочь?

— Сейчас сражение.

— Но мне одному неудобно растягивать тросы.— Он смотрел на меня с наивным негодованием.

Я сел на Белку.

— Уезжаете? — изумился Лепихин.— Да как вы... Ах, так? Стыдно вам, Берестов, стыдно!

— Но почему?

— Вы оседлали время и не хотите, чтобы это сделал другой!

— О чем вы говорите? Какое время?

— Такое! — Он говорил запальчиво, чуть не по-детски.— Сами сказали!

— Но неужели вам достаточно простых слов? Мало ли что можно сказать?

— Вы на попятную?! — яростно закричал он.— Испугались? Ладно, я сам! Но про вас я знаю, все знаю! У меня доказательства, сто доказательств, я чувствую, наконец!

— Какие у вас доказательства? Чьи-то слова?

— Слова! Но не с одной стороны!

— Все это фантазия.

— А медальон?

— Какой медальон?

— Эмалевый медальон! Разве не вы рисовали?

— Вы про какой медальон?

— У вашей знакомой! У нее медальон, я видел его. Прелестная девушка, она не играла в прятки! Я помог ей бежать! Ее вы искали, ее! Вы сами сказали, что рисовали ее портрет, и подпись на медальоне ваша. Что же, не вы рисовали?

— Но что это доказывает?

— Доказывает! Медальону сто лет!

— Сто лет?

— Сто лет, знаете сами. Он писан еще до Екатерины!

— До Екатерины?

— Это и простым глазом видно, хотя эмаль хорошо сохранилась. Но я не разглядываю чужих медальонов, она сама мне сказала! Это единственное, что ей досталось в наследство. На медальоне мать ее бабушки!

Я похолодел.

— Прабабка! — кричал Лепихин. — Только с ней как две капли воды!

— Ах так... — Я не знал, что сказать.

— Да что вы таитесь? — умоляюще заговорил Лепихин. — Не верите мне? Если не с вами, то с кем мне надежду делить? Кому ни скажи, за безумного принимают. Как тяжело, как трудно!

— Да в чем ваша надежда?

— Я сам не знаю! — сказал он с отчаянием. — Не знаю, не знаю! Но мне бы только начать! Заглянуть туда, приоткрыть завесу!

— Но разве это возможно? Ваши приборы, ваши шары. Время нехватишь простыми щипцами. Да и зачем?

— Да, невозможно... — Лепихин вдруг сел на землю. — Может, и нет... Вы правы. Вы не хотите понять. Вы не желаете. Это ваше право, я понимаю... Ну что ж, я сам. Как всегда...

— Прощайте, — сказал я. — Дай вам бог уцелеть от случайной пули, а после боя, быть может, и поговорим...

Я ускакал.

На флешах отбита четвертая атака. Французы ходили шестью дивизиями, ворвались в укрепления, но гренадеры снова отбросили их до леса.

Что я увидел на флешах? Я увидел, что гренадерской дивизии Воронцова нет. Вернее, она тут, она вся раскинулась перед глазами. Смерть припечатала ее к земле, не сумев рассеять по полю. Из четырех с лишним тысяч на вечерней перекличке не соберут и трех сотен.

А французы готовят новую атаку, пятую. Солдат с рукой, обмотанной грязной окровавленной тряпкой, разговаривает с другим. У того обвязана шея, глаза смотрят страдальчески.

— Сорока, давай в рихмы играть.

— Як це то рихми? — Сорока жмется плечами, ему больно.

— Эх ты, неученый. Рихмы — то чтоб складно было.

— А шо ж, давай.

— Например, как твоего отца звали?

— Кузьма.



- Я твоего Кузьму за бороду возьму!
- Так вин без бороды був.
- А, тогда ладно. Ну а деда?
- Опанас.
- Опанас? Хм... А коли Опанас, то кривой на глаз!
- Ни,— возражает Сорока.— Обои ми бачил.

Проезжает офицер.

- Ну что, братцы, держитесь?
- Скриготим зубами, а держимся! — отвечает солдат.

Подходит третья пехотная дивизия, Тучков-старший все-таки дал подкрепление. Одной бригадой здесь командует мой теперешний начальник младший Тучков. Я вижу, как он спокойно идет вдоль строящихся батальонов. Они еще не были в деле. Французские ядра скачут по линии, лопаются гранаты. Быть может, сделать сейчас набросок атаки? Но для этого надо спешиться и выбрать место.

Я прячу Белку за исковерканным лафетом и вынимаю из сумки бумагу. Она пришпилена у меня на картон, грифель заточен.

Солнце уже высоко, сейчас часов десять. Но светить в полную силу ему не удастся. Пороховые дымы пять часов рвутся из пушек, ружей и пистолетов. Горит все, что может гореть: деревья, зарядные ящики, уцелевшие избы. Плотная желтоватая дымка растет и растет в высоту над полем, кажется, сам воздух тлеет. Десять пушечных и сто ружейных выстрелов приходится на каждую секунду жарких часов Бородинского боя, это подсчитали потом. А сейчас кажется, что все железные трубы, большие и малые, режут непрерывно, прыгая, раскаляясь, выбрасывая за дымом дым.

Тррах! Со страшным звуком разрывается пушка на нашей батарее, она не выдержала непрерывной стрельбы. Падают изувеченные канониры.

Пылают последние деревья и кусты, вся позиция заставлена большими и малыми факелами. Мимо меня проезжает Багратион с адъютантами. Он останавливается и пристально смотрит в сторону французов. Они тем временем заводят свое пикиканье и начинают маршировать на флешу. Ядра их косят, но французы идут.

— Браво! — Багратион хлопает в ладоши.— Жалко трогать молодцов. Как идут!

— С каждым разом все ближе строятся,— говорит офицер.— Скоро нос к носу будем отдыхать.



— Скажите Шатилову, чтоб встал наискосок, — приказывает Багратион. — Пусть с фланга ударит.

— Не успеет построиться, ваше сиятельство!

— Исполняйте! — резко говорит Багратион. — Браво, ей-богу, браво!

Вся сила французской атаки в первом натиске. Тут, кажется, не удержать. Уже три раза с наскоку они брали флеши. Но у вдохновенного французского боя не всегда хватает дыхания. Сначала русские отступают, а потом тяжелым ударом возвращают занятые позиции.

В пятой атаке все повторилось. Французы ворвались на

флеши и оседлали пушки. Гренадеры второй дивизии кинулись в контратаку, началась бойня. Я не успел сделать ни одного штриха, прорвавшиеся французы набегали с опущенными штыками. Мне пришлось спасаться, Белка так и осталась привязанной у лафета.

Я увидел Тучкова. Стройный, туго затянутый в мундир, он что-то кричал солдатам. Те как замороженные смотрели на промежуток поля перед собой, ядра ложились на нем особенно густо.

— Ах, так! — крикнул Тучков. — Стоите? Тогда я один!

Он выхватил у солдата знамя и прямым шагом пошел навстречу ядрам. Десять шагов, двадцать, и вдруг опустился на колено. Гранаты рвались вокруг, плясали ядра.

Что-то толкнуло меня. Может, вид одинокого, засыпанного ядрами генерала, может, склоненное знамя, которое он все еще держал на колене, но я кинулся вперед, ничего не помня. Я добежал до Тучкова. Он, с головой, упавшей на грудь, уже мертвый, все еще стоял на колене и необъяснимым посмертным усилием держал древко с зеленым полотнищем.

Я наклонился, но тут же меня ударило в затылок, и все потемнело.

*А*

Темнота, темнота... Спокойная, плавающая. Со мной рядом сидит Наташа. Она всхлипывает:

— Ты совсем как мертвый, совсем...

Я шепчу:

— Я не мертвый. Меня ударило. Я хотел поднять знамя, и меня ударило. Где ты была?..

— Я здесь, я все время с тобой.

— Где ты, дай руку.

Она протягивает руку. Я тянусь, тянусь, не достаю. Она говорит:

— Все время с тобой, все время.

Я говорю:

— Это неправильно, что мы расстались.

— Это неправильно, — говорит она.

— Мне без тебя трудно.

— И мне.

- Я ищу тебя, я все время ищу тебя. Где ты, Наташа?  
— Я здесь,— шепчет она.— Куда тебя ударило?  
— Где мне тебя найти?  
— Я здесь,— шепчет она.— Я с тобой...

Проясняется. Меня несут два солдата.

— Ничаво, ваше благородие. Маленько гвоздануло, даже дырки не сделало. Ядром причесало. Это совсем ничаво. Красивше будете.

— Где генерал? — говорю я.— Генерала возьмите.

— Их превосходительство? Где там! Вы-то вперед пробежали, а евоного даже места не стало, чугуном позасыпало.

Что-то взрывается рядом, солдаты падают, я снова теряю сознание. Опять темнота. В ней младший Тучков. Он улыбается печально, издали машет рукой:

— Вот не могу подняться. Грудь навывлет, да и ноги... Я бы поднялся. А жаль, в первой же атаке. Не повезло, право. Если Мари увидите, передайте, чтоб не искала...

— Мари? — Губы мои едва шевелятся.

— Жену так зову, Маргариту. Скажите, пусть уж не ищет. Тут на меня двое упало, потом еще и еще, лошадью придавило, где тут найти.

— Она все равно будет искать.

— Жалко ее... — Красивые губы Тучкова кривятся.— Бродить среди трупов каково...

Я говорю:

— Она все равно будет искать. День и целую ночь с факелом. Часовню поставит.

— Часовню? — говорит Тучков.— Мне? А ребятам? Ребятам поставьте часовню, сколько их у меня полегло...

Очнувшись, я нахожу себя прислоненным к лафету. Голова гудит, рука повисла. Рядом Листов.

— Как вас шарахнуло! Два раза от смерти ушли. А вы молодцом, полк поднимали в атаку. Я уж дивизионному фамилию сообщил, представит. Давайте руку перебинтуйте. Картечью, видно, цапануло.

Правая кисть в крови, но, кажется, не перебита. Листов туго затягивает ее бинтами.

Рядом на земле сидят солдаты и делят каравай хлеба.

— Вот пахнет-то, братцы. В драке еще слаше, кормилец наш родимый.

— Глянь, у Ермила ядро в ранец закатилось! Где у тебя ранец-то был, Ермил?

— Тута вот бросил на один миг, а поднял, смотрю, чижелый.

— В ранец, эк невидаль! У канонеров ядро в пушку склизнуло, аккурат в самое дуло. Законопатило!

Тут же сидит француз с перебитой ногой, на него никто не обращает внимания. Француз разрывает рубашку и пытается перевязать ногу. Кто-то протягивает ему кусок хлеба.

— Эй, горемычный, пожуй маленько.

Француз берет хлеб, ест и давится. По щекам текут слезы.

— Дядька Максим, а чего они к нам прилезли? Смотрю вот, люди как люди.

— Господь ослепил, вот и прилезли,— важно отвечает Максим.— А так, оно конечно, люди. Как не люди...

— Вас все-таки в госпиталь надо,— говорит Листов.— Белка цела, поезжайте. А мне опять к Барклаю.

— Который час? — спросил я.

— Около десяти.

Я вспоминаю, что должен сделать рисунок. Хотя бы один рисунок, тот самый, который попадет в коллекцию Артюшина. Странное, непонятное, но острое ощущение причастности к этой, казалось бы, мелочи. Да что изменится, собственно говоря? Рука висит плетью, еще не известно, смогу ли стоять на ногах, «причесанная ядром» голова просто разламывается.

Что изменится? Не будет рисунка с подписью «Ал. Берестов», бумажки в коллекции отставного полковника. Но он уже есть, что-то твердит во мне. Этот рисунок, эта бумажка. Ты его видел, значит, он должен быть. Иначе какой-то изъян, какая-то неточность вклинится в будущее. Но что же с того? Пусть вклинится, так даже интереснее...

Шатаюсь, встаю, сажусь на Белку. Кричу изо всех сил, а на самом деле лепечу еле-еле:

— На батарее...

— Bravo! — Листов хлопает меня по плечу.— Вы молодчага!

Мы скачем. Издали на батарее ничего не разглядеть. Но вот дым рассеялся на мгновение, и мы увидели, как наши скатываются вниз по холму.

— Что такое? — закричал Листов.— Неужто отдали люнет?

Тут же его Арап взвился и запрыгал на трех ногах.

— Проклятье! Берестов, уступите лошадь. Да слезайте! Не видите, батарея пала! Вы же в седле еле держитесь!

Он стащил меня с Белки. Рядом в каре стоял батальон.

Толстый смешной офицер бестолково бегал перед ним, что-то покрикивая. Пехотинцы стояли плотными рядами, в деле еще, видно, не были.

— Какого полка? — закричал Листов.

— Томского пехотного!

— Вы что же, не видите, что батарея пала? Именем главнокомандующего — за мной! Надо скинуть французов!

— Ребята! — закричал офицер тоненьким голосом. — Наш черед! Ура не кричать, пока на горку не влезем, а то выдохнетесь!

— Давайте! — крикнул Листов. — Поздно будет!

Он пришпорил Белку и поскакал впереди батальона. Томищи дружной гурьбой кинулись за ним. Батальонный бежал сбоку, неловко размахивая шпагой. Почти бегом они взяли склон батареи, и только там грянуло «ура!». Несколько сотен русских ударили в штыки чуть ли не на дивизию.

Французы замешкались. Пока они разобрались, что атакует всего горстка, подоспел еще полк, за ним другой. Высота закишела войсками, как муравейник. Я вытащил из сумки бумагу, карандаш и неверной, набухшей от боли рукой попробовал взять его в руку.

Атака на батарею Раевского! Почти безнадежный, отчаянный удар одного батальона на несколько французских полков. Но этот рискованный удар успели поддержать другие войска.

Атака на батарею Раевского составила себе громкую славу, хотя таких атак в Бородинском бою я видел немало. Случилось это, возможно, потому, что сразу два генерала, начальник штаба Ермолов и командующий артиллерией Кутайсов, кинулись отбивать высоту и оба получили раны, один небольшую, другой смертельную.

Но я не видел пока ни Ермолова, ни Кутайсова. Возможно, они замешались в атаку с другой стороны. Впереди всех я видел Листова на белой лошади, на моей Белке, за ним томицей, а там уж целую толпу войск — егерей, пехотинцев, драгун, гусар.

Зажав между пальцами карандаш, я сделал несколько штрихов. Острая боль пронзила руку, но я продолжал рисовать. Струйка крови скользнула из-под бинта и пропитала бумагу. Ага, вот они, буроватые пятна, которые я разглядывал у Артюшина, это моя кровь.

Голова налилась свинцовой тяжестью. Едва кончив набросок, я снова потерял сознание.



Что для меня потеря сознания в этом бою? Потеря одного и обретение другого? Я вижу ослепительную улыбку Кутайсова. Он скачет на своем караковом жеребце и смеется, как будто он не в бою, а на веселой охоте. Картечь сметаёт его, окровавив седло. Он падает на землю, садится, с изумленным лицом ощупывает растерзанную грудь.

Я вижу сердитое лицо Кутузова. Напрягаясь и краснея, он тоненьким голосом кричит:

— Христом богом просил тебя не лезть в простую пехоту! Ты чего упал? Поднимайся быстрее, раздавят копытами! Вставай, голубчик, вставай!

Кутайсов с тем же изумлением продолжает ощупывать грудь.

— Ваша светлость, кажется, я не могу. Осколок в груди. Ваша све... — Он медленно валится на землю.

— А пушки? — кричит Кутузов. — Кто над пушками останется, куда резервы попрятал?

— К-костенецкого ставьте, — бормочет Кутайсов. — А я... я помираю...

— Помираю! — кричит Кутузов. — Я тебе покажу — помираю! Сказывал, не лезь!.. Помирает? — спрашивает он с почти детским недоумением у окружающих.

— Убит сразу, — отвечают из свиты. — Непонятно, как еще разговаривал. Уже пятнадцать генералов выбито, ваша светлость. Трех наповал...

Генералы двенадцатого года! Как они молоды, многим нет и тридцати. Двадцать два из них окропили кровью бородинскую землю, двое остались там навсегда, погребенные под кучами трупов, трое умерли от ран...

Генералы двенадцатого года. Багратион, с лицом, озаренным вдохновением боя, кричащий «браво» французской атаке. Спокойный, ищущий смерти под ядрами Барклай. Незаметный Дохтуров, возникающий в самых опасных местах боя. Бесстрашный Милорадович, с трубкой в зубах на виду у французских батарей. Отчаянный Раевский, ходивший в атаку вместе с сыновьями. Самолюбивый и властный Ермолов, которого опасался сам царь. Красивый и нервный Коновницын, летавший по полю в расстегнутом сюртуке. Цепкий Неверовский, чудом державшийся с дивизией против тройной силы французов. Любимец Петербурга Кутайсов, писавший стихи и трактаты об артиллерии. Гигант Костенецкий, дравшийся как простой солдат и сломавший два банника о французские головы. Грузный, стареющий Лихачев, один бросившийся на французов со шпагой. Мужественный Кульнев, хитроумный Платов. Скромный Луков, единственный генерал, в послужном списке которого сказано «из солдатских детей». Командир четвертой дивизии, обладатель пышного титула принца Вюртембергского, ходивший в простой пехотной шинели, евший из котелка и спавший на земле рядом с солдатами...

Сухая пыль щекотала мне нос. Я очнулся лицом к земле и увидел жесткие, перепутанные остатки травы. Вздрыгнутые, помятые, они торчали, как обломки крохотных штыков, источая горький запах уставшей от битвы природы.

Я приподнялся. Мое беспмятство было недолгим, на высоте еще длилась схватка. Там все бурлило, рычало, сверкало.



Но постепенно бой скатывался к Колоче. Высота осталась в наших руках, приняв на свое измученное тело еще пять тысяч убитых.

Чудом уцелел в этой схватке Листов. Он подъехал на Белке, держась за плечо и улыбаясь. Эполет сорван, рукав распорот, сорочка в крови.

— Штыком задело,— сказал он.— Пустяки.

Слез с Белки и вдруг опустился на землю, побледнел. Тут же подскочил генерал, без треуголки, тоже перепачканный кровью. Грива вьющихся русых волос, широкое распаленное лицо, тугой подбородок. Могучие плечи, скульптурность во всей фигуре. Я сразу узнал Ермолова.

— Чья лошадь? — закричал он веселым и в то же время повелительным голосом.— Чей белый конь? Кто был в атаке?

Листов поднялся и твердо сказал:

— Это лошадь поручика Берестова.

— Герой поручик! — крикнул Ермолов.— Запомню! — И прежде чем я успел возразить, обратился к Листову: — А вы, ротмистр, поставьте пушки Никитина на высоту.— Он тут же дал шпоры и ускакал, обдав нас комьями из-под копыт.

— Вы ранены, вам перевязка нужна,— сказал я Листову.

— Где же Арап? — Листов оглядывал поле.

Арапа не было. То ли его добило, то ли, раненный, он ускакал из гущи боя.

— Ждите меня здесь.— Листов взобрался на Белку.— Сейчас отведу батарею и лошадь другую достану.

Я сунул рисунок в сумку и пошел на центральную высоту. Здесь в пороховом чаду, в тяжелом запахе изуродованных тел началась расчистка подъездов для артиллерии. Убирали разбитые лафеты, откатывали ядра, растаскивали трупы. Грохот стрельбы накрывал все тяжелым пластом. Нет да нет новое попадание валило кого-то наземь. Дымилась земля, перепанная копытами, колесами, ядрами, гранатами.

— Ах, Петрушенька, все живой, однако! — воскликнул вдруг кто-то с ласковым удивлением и тут же закричал яростно: — Куда прешь? Объезжай! Вертай, говорю, колесья!

— Чего? Нешто спятил, Фролов? Чего разорался? — сердито сказали солдаты, толкавшие пушку.

— Вертай, говорю! Не видишь — цветок?

— И чего цветок? Пропускай орудье!

— А то, что живой! С утра невредимый. Раскрой, дура, глаза!

Солдаты, толкавшие пушку, остановились.

— Глянь, правда живой. Живая, братцы, растенья.

— Ишь, рученьки растопырил, красуется.

— И как уцелел? Лютик не лютик...

— Лютик, сказал! Это копытка.

— Врешь, не копытка! Копытка весной играет. Шептуха это, верное слово. В четыре лепесточка, смотри.

— Нет, не шептуха. Запах сурьезней...

Солдаты толпились, разглядывали, нюхали. Среди черной, изрытой земли, среди обломков и мертвых тел стоял как ни в чем не бывало полевой цветок. Его желтые лепестки светили свежо и радостно.

— С самого утра фертом! — радовался солдат. — Ах ты Петруша! Я загадал: коль он уцелеет, то и мне будет вторая жизнь.

Солдаты смеялись.

— Не глупствуй, Фролов. Цветок себе за икону выбрал.

— А ты объезжай! Давай стороной колесьями. Петрушу помнешь!

— Хо-хо! — гоготали солдаты. — Петруша! Ладно, обкрутим. Пушай твой Петруша живет!

## 5

Под руки провели исколотого французского генерала. Это был Бонами, командир бригады, первой ворвавшейся на батарею, но оставшейся там навсегда. Из-под залитого кровью лба страдальчески блеснули темные глаза.

Лихие французские генералы любили ходить впереди атак, они не боялись смерти. В Бородино сорок девять из них получили раны, девять смертельные. Но плен для французского генерала, привыкшего к славе, был тяжок.

Подъехал Листов. Он совсем ослабел. Кровь из плеча не унималась, хотя я неловко намотал бинты и тряпки. Артиллеристы дали ему приبلудную лошадь под французским седлом, и мы поехали на перевязочный пункт.

На флешах французы начинали шестую атаку. Четыре сотни орудий обмолачивали позицию, чтобы подготовить еще один натиск двадцати тысяч пехоты и кавалерии. Русских на флешах вдвое, а то и втрое меньше.

— У нас как в каменоломне,— говорил офицер,— французы метр прорубают, а тут же обвал — и каменщиков нету. Снова долбежка.

Левее тоже горячее дело. Французы отбросили наших с Утицкого кургана, но ненадолго. Сейчас подойдут подкрепления второго пехотного корпуса. Тучков-старший поведет их в контратаку и будет смертельно ранен на отвоеванной высоте.

Его понесут на плаще по склону, а подскакавший адъютант скажет, что убит его младший брат Александр.

Как много братьев сражалось в Бородинском бою, как





много пало. Тучковы погибли оба, из четверых Орловых двое убито, двое тяжело ранено. Убиты Валуевы, ранены Муравьевы, Норовы, Щербинины... Да что там, каждый второй офицер воевал рядом с братом, отцом или сыном. Кажется, вся Россия семьями ушла из домов, чтобы загородить дорогу французам.

Сражение клонится к полудню. Русские стоят, французы кидаются в бесконечные атаки. Сейчас по приказу Кутузова казаки Платова и кавалеристы Уварова обходят неприятеля, чтобы «подергать» его левый фланг. Войск немного, кроме дерзких наскоков, они ничем не могут грозить корпусу Богарне. Платов не решится атаковать, он только покажет издали лес пик, но так испугает французов, что сам Наполеон оставит центр и поедет на левый фланг вместе с большой группой войск, так нужных ему в центре.

Мы проехали вторую линию войск, потом резервы. Тут было потише, но вовсе не безопасно. Ядра тяжелых пушек залетали роями, ломали строй батальонов, валили лошадей, взрывали пороховые ящики. Отсюда все рвались в бой, пляска чугунных шаров над головой, бессилие предугадать их злоеший полет рождали чувство мучительной беспомощности.

Какой-то драгунский полк с обнаженными палашами стоял во фронт и вовсе не походил на полк, от него осталось меньше батальона. Один командир заставил своих пехотинцев сидеть, но это не много меняло, ядра на излете все равно косили людей.

Солдаты слушали звуки летящего металла и обсуждали:

— Холодная пошла!

— Нет, вареная.

— Всмятку! Чичас брызнет!

«Холодная» — это ядро, безразличный чугунный шар. Я видел, как неопытный новобранец попробовал оттолкнуть ногой катящуюся мимо «холодную». Ему оторвало носок, бешено вращающееся ядро не терпит прикосновений. Если оно пролетит мимо достаточно близко, то вас «причешет» — контузит воздушной волной.

«Вареная» — бомба или граната. Она разрывается с визгом, обдавая смертельным железом. Как только ее не называют — «чиненка», «пузырь» и даже «одуванчик». Она разрывается в воздухе или на земле, смотря по тому, когда догорит запальная трубка.

Еще есть картечь — «горох», «пшено». Но сюда картечь не долетает. Зато в первых рядах картечь, пожалуй, самый страшный снаряд. Она может скосить сразу десяток.

Весь пятый гвардейский корпус еще не участвовал в деле. Преображенцы, семеновцы, измайловцы стояли сумрачными рядами, глядя на дымную панораму впереди. Перед полками расхаживали командиры. Стояли кавалергарды, лейб-кирасиры, гвардейские драгуны. Все на подбор рослые, в сверкающих касках, в красивых мундирах.

— Будет еще французам работка, — сказал Листов.

В низине у небольшого леса поставлены палатки лазарета. Здесь протекает небольшой ручеек. Сначала я подумал, что он ржавый, как это бывает с лесной водой, потом увидел, что густо-красный от крови. В бурых маслянистых пятнах была и земля, кровь из отрезанных рук и ног, разбитых голов, изуродованных тел не давала ей просохнуть.



Негромкий стон, непрерывный, тяжелый, заполнил низину. Солдаты сидели, лежали, все окровавленные, перебинтованные, некоторые уже мертвые, а ручей все тек и тек, унося поток человеческой крови.

Лекари не успевали, вереницы раненых дожидались у отвернутого края палатки. Листов не пошел, как другие офицеры, без очереди, а только взял корпии, спирта, бинтов и снял мундир. Как мог, я промыл ему рану и туго забинтовал.

Рядом какой-то пехотный офицер тоже пытался перевязать себя сам. Я помог и ему. Офицер поблагодарил.

— Эх, господа, разве мы так сумеем? Вот женские руки — они как бальзам: и бинтуют и боль успокаивают одновременно.

— Женщину тут за десяток верст не найдешь,— сказал Листов.

— У нас в Нижегородском полку при лазаретной повозке была одна. Прелесть девушка! И сейчас где-то здесь, врачует. Жаль, что не к ней попал. Да что, господа! — Офицер махнул рукой. — Об этом подумаешь, сразу жить хочется... Однако я в бой, прощайте...

Мы поехали в сторону Семеновского оврага и увидели нескольких солдат, стиснутых драгунами. Солдаты что-то кричали и показывали на лазарет. Рядом гарцевал офицер на сером коне.

— Полицейская линия,— мрачно сказал Листов.

— Ваше благородие! — кричали солдаты. — Ваше благородие, прикажите! Страженья идет, а нас держат!

Солдаты стояли без оружия. Драгуны с палашами наголо молча напирали на них лошадьми.

— Убери сеledку, чего тычешь! — кричали солдаты. — Шел бы под ядра, тетеря!

Листов поехал, не оглядываясь.

— Под ядра, понял, тетеря! — кричал солдат. — И твой начальник пушай откушает! А то хороши здесь, вороны!

Офицер вдруг подъехал и что-то сказал драгунам. Те слезли с лошадей, схватили кричавшего солдата и стали валить его наземь.

— Братцы! — закричал тот. — Как так? Меня шомполами? За что? Я рану имею, братцы! Егерского полка рядовой Максимов! Страженья идет! Как же, братцы!..

Листов внезапно резко повернул коня и подъехал.

— Что тут у вас происходит? — крикнул он звонким и злым голосом.

— Не извольте беспокоиться, ротмистр,— сказал офицер, холодно поглядев на Листова.

Это был Фальковский.

— Что все-таки происходит? — настойчиво повторил Листов.

— Вы сами должны понять, что происходит,— ответил Фальковский. Он посмотрел на меня и усмехнулся. — Я имею приказ задерживать дезертиров, покидающих поле сражения.

— Какие там дизентеры! — кричали солдаты. — Враки, обман! Мы раненых отводили. Вон лазарет, вон он! Спроси кого хошь! Я Петрова нес, у него нога перебита!

— А я двоих сразу тащил!



— У меня пули вышли, за припасами послан!

— Разберись, ваше благородие!

— Я имею приказ,— сухо повторил Фальковский.— Вам ли, ротмистр, не знать, что без нашей линии пол-армии разбежится. Поезжайте своей дорогой... Продолжайте,— сказал он драгунам.— Дайте ему фухтелей. В другое время на карторгу пошел бы за оскорбление.

Драгуны снова схватили солдата.

— Прекратить! — вдруг закричал Листов высоким голосом.

Драгуны остановились.

— В чем дело? — Голубые глаза Фальковского похолодели.— С кем имею честь?

— Ротмистр Листов, адъютант второй армии! От имени



командующего требую освободить людей и отправить на передовую!

— Требуете? — Фальковский прищурился. — Отчего же вы требуете? Эти люди арестованы как дезертиры и предстанут перед судом. А вы, ротмистр, еще ответите за свои действия. Или вам не известен приказ самого светлейшего?

Листов дал шпоры коню и подскочил к драгунам.

— Братцы! — закричал он. — Драгуны! Какого полка?

— Ингерманландского, — ответил кто-то.

— Первого корпуса? Я войсковой адъютант первой армии! От имени командующего приказываю пропустить солдат на позиции! Братцы, людей не хватает! Судить да рядить будем потом! Палаши в ножны, ребята! Не здесь ими махать, расступись!

— И то. — Драгуны охотно попрятали палаши и отъехали.

— А вы, — сказал Листов солдатам, — кто еще на ногах стоит, давайте в полки. Ведь еле стоим. Давайте, давайте, ребята!

Солдаты с радостным гулом поднимали ружья.

— Верно, ваше благородие, спаси тя бог. Это из наших, боевой. А то — фухтелями. Еще повоюем. Земля пока держит.

Подъехал Фальковский и ледяным тоном сказал:

— За бунт вы ответите.

— Капитан, — сказал сквозь зубы Листов. — Я не уверен, что ваше мужество распространяется дальше полицейской линии.

— Вы полагаете, я струшу на передовой? — насмешливо спросил Фальковский.

— В таком случае, пожалуйста на передовую.

— Вы лично меня приглашаете?

— А хоть бы и я.

— Для какой цели?

— Мало ли что можно делать на передовой. — Листов принял иронический тон: — Например, отообедаем вместе. Время сейчас как будто к обеду.

— Вы хотите со мной отообедать?

— А что? Приятно отообедать с таким серьезным, исполнительным офицером. А заодно обсудить значение полицейской линии.

— Именно в связи с ее значением я не могу оставить пост, — сказал Фальковский. — А после боя я к вашим услугам.

— После боя! — Листов усмехнулся. — Вы полагаете, у нас равные шансы уцелеть? Нет, капитан, вы, как я вижу, не такой уж храбрец.

— Хорошо, — мрачно сказал Фальковский. — Я постараюсь освободиться на время. В котором часу и где вы собираетесь устроить свой показательный обед?

— Мой показательный обед, — Листов достал часы и взглянул, — будет дан через час... скажем, на центральной батарее.

— А рапорт на вас я все-таки напишу, — сказал Фальковский. — Вы попадете под суд не после обеда, так после ужина.

— Отлично, — сказал Листов. — Так я вас жду.

— Что вы затеяли? — спросил я, когда мы отъехали. — Что еще за обед?

— Так, фантазия. — Он засмеялся и тут же рассказал, как отвозил пакет Милорадовичу.

Милорадович спросил, как Барклай. Листов ответил, что ездит в самых опасных местах, под ядрами. Милорадович тут же кликнул вестового и велел подать себе завтрак на самом видном месте, прямо под носом у французских батарей. Сидит грызет курицу и приговаривает: «Мы Барклая не хуже. Где он красуется, там мы обедаем». Кругом ядра свишут, а он курицу ест.

— Уж коли полный генерал на такое мальчишество способен, — смеялся Листов, — то и мне пошутить не грех.

— Думаете, Фальковский приедет?

— Не думаю. — Листов махнул рукой. — Но после боя я все-таки его разыщу. Уж больно заносчивый служака.

— Не трудно его разыскать, — сказал я. — Он вас быстрее разыщет. Фальковский лучший полицейский офицер Ростопчина. Он ездил со мной в Воронцово.

— Вот как? — сказал Листов.

Тут же он остановил лошадь, и на лице его появилось удивление.

— Батюшки! — воскликнул он. — Доктор Шмидт!

## 6

Оказалось, мы ехали тем леском, на который я час назад показал Лепихину. В нем росло несколько крепких дубовых деревьев, но теперь лес превратился в обгорелый частокол.



Весь перепачканный, в изодранной одежде, Лепихин сидел посреди каких-то обломков. Рядом валялась убитая лошадь, дымились и тлели на ветках дуба куски желтой тафты.

Лепихин не обратил на нас никакого внимания, даже не повернул головы.

— Quelle rencontre! — крикнул ему Листов. — Quel bon vent vous amène, docteur?<sup>1</sup>

— А, бросьте! — сказал Лепихин. — Говорите по-русски.

— У вас какие-нибудь неполадки?

— В самую середину гранатой, — задумчиво проговорил Лепихин. Он повернулся и посмотрел на Листова: — Где-то я вас видел?

— В отеле «Голубой волк», доктор Шмидт.

— А хватит вам! Доктор Шмидт, доктор Шмидт...

— В таком случае...

— Шмидт, доктор Шмидт, мсье Леппих. К черту!

Листов вопросительно посмотрел на меня.

— В самую середину гранатой, — снова сказал Лепихин. —

---

<sup>1</sup> Вот так встреча! Как вы здесь оказались, доктор? (франц.)



Горелка рванула, черт побери! Впрочем, она все равно не работала.

— Вы не успели подняться? — спросил я.

— Какой там подняться! Говорю вам, отказала горелка, проклятье! Все в щепки — смотрите. Вам нравится? Вы этого хотели, господин Берестов?

Тут он словно только что нас увидел.

— Черт возьми! Да вы вместе! Каким образом?

— Судьба, — сказал я. — Судьба.

— Ага! Значит, она существует? В таком случае, у меня роковая.

— Я бы не сказал, — заметил Листов. — Из-под гранаты ушли. Да еще взорвалось что-то.

— Горелка, черт бы ее побрал. Еле дышала. Так бы я за два дня не наполнил оболочку. Целую жизнь этот опыт готовил. Что мне теперь остается?

— Готовить другой.

— Резонно, — сказал Лепихин. — Впрочем, вам не понять.

— Что вы теперь намерены делать? — спросил я.

— Пойду битву глядеть. Приборы мои разбиты, так я хоть простым глазом. Где всего жарче, покажите дорогу.

За рошей мы поймали одинокую лошадь, Лепихин взобрался в седло. Я предупредил:

— Фальковский здесь, в полицейской линии.

— А мне что? — Лепихин пожал плечами.

— Вам разрешили уехать из Воронцова?

— Разрешили? — Лепихин усмехнулся. — Надоела комедия.

Мы встретили Вяземского.

— Петя! — крикнул Листов. — Живой? Как там на линии? Горячо?

На круглом лице Вяземского, раньше смешливом и оживленном, — недоумение. Разбитые очки бесполезно болтаются на носу. Он щурит глаза, всматривается.

— Ей-богу, не знаю, Паша.

— Чего на одном месте вертишься? — говорит Листов.

— За батареей я послан, а найти не могу. Где тут артиллерийской резерв?

Листов пожимает плечами.

— Как там на флангах и в центре?

— Да разве поймешь? — отчаянно говорит Вяземский. — Каша, вот уж не думал. Такая бойня! Подо мной две лошади пало. Валуев убит, Бибикову руку напрочь.

— Постой, постой. Ваши-то где стоят, Милорадович?

— Да половина стоит, а половину перевели куда-то. Я уж запутался окончательно. К французам чуть не заехал, а вернулся, свои было зарубили.

— Говорил, смени кивер.

— Я сменил. Это Валуева фуражка. А он убит... Так где же резервы?

— Туда! — Листов махнул в сторону Псарева. — Только не послушают. Ты уж прости, Петя, вид у тебя больно невразумительный.

— А!.. — Вяземский махнул рукой и ускакал.

Страшный грохот стоял на флешах. Все небо набухло железной молотью. Казалось, вот-вот оно расколется и рухнет на землю.

Я увидел Багратиона. Его несли на плаще четверо солдат. Несли не так, как выносят с поля раненого генерала — торжественно и тихо. Его тащили почти бегом, все тело вскидывалось, и голова болталась из стороны в сторону. Одна нога в белой перепачканной лосине тащилась по земле, другая, вся оплывшая кровью, лежала на плаще неестественно прямо



Солдаты бежали. Они торопились вынести командира из-под огня, но такого места вокруг не было.

Его положили на землю, подбежали несколько офицеров. Багратион не стонал. Его серое, окаменевшее от боли лицо, маленький сжатый рот, налившиеся чернотой глаза выражали одновременно муку и твердость.

Он сделал движение рукой, как бы разгребая столпившихся офицеров, и те расступились. Кто-то бинтовал ему ногу, кто-то прикладывал мокрую тряпку ко лбу, а он напряженно всматривался в дым сражения и слабым голосом отдавал распоряжения. Листову сказал:

— Справа за деревней скрытое место... хорошо для фланкировки... пушки поставь.

— Понял, ваше сиятельство.

Последние слова к адъютанту:

— Поезжай к Барклаю... скажи, чтоб простил...

Его унесли.

«Поезжай к Барклаю, скажи, чтоб простил». В минуты страшной боли, в минуты предчувствия близкой гибели он посылал эти слова человеку, которого всегда считал неправым и обвинял чуть ли не в измене...

На этот раз флеша не устояла, контратаковать было нечем. Унесен с поля Багратион, солдаты не видят его фигуры на белом коне, нет за спиной свежих колонн. В егерском колпаке с белой кисточкой скачет Коновницын, он собирает перед оврагом рассеянные войска, ставит пушки. Но контратаковать нечем.

Это восьмая атака. Русских осталось вчетверо меньше, чем наступавших французов, но и те выдохлись настолько, что не смогли продолжить атаку, хотя, казалось, ничего не стоит опрокинуть последний русский заслон, ударить во фланг армии Барклая, довершить победу.

Французы выдохлись. Тридцать тысяч остановились перед десятью и принялись закрепляться на флешах.

Тем временем мы неслись вдоль Семеновского оврага туда, где Багратион показал место для фланговой батареи. Нескольких пушек уже палили отсюда, какой-то смысленный командир на свой страх и риск поставил полубатарею.

Место удобное, это заметно и невоенному. Маленький овражек с крутыми склонами, похожий на специально вырытый котлован. Возможно, когда-то здесь копали под фундамент большого дома. От овражка заросший кустами обрыв к Семеновскому ручью, а там еще один ручей, текущий в Семеновский со стороны французов. Кусты закрывают батарею, пушки бьют между ними. Отсюда как на ладони открывается схватка за флеша, выбирай любую цель.

— Чья батарея? — крикнул Листов.

— От тридцать третьей легкой! — ответил молодой поручик с перепачканным сажей лицом.

— Где же прикрытие?

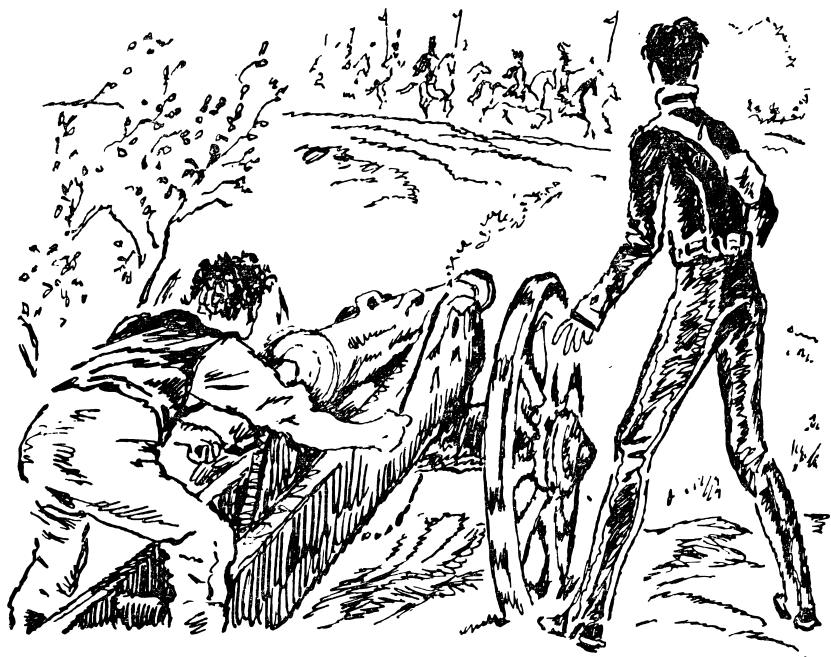
— Прикрытия нет, господин ротмистр!

— Так вас на штыки поднимут!

— Пока не заметили!

— Господа, располагайтесь, — сказал Листов. — А я достану хоть батальон. — Он ускакал.

Из шести пушек полубатареи стреляло четыре, не хватало прислуги. Молодой поручик бегал между орудиями, выскакивал из овражка и поправлял прицел. В одном канонире я узнал солдата Фролова с центральной батареей.



— Ну как, Фролов, жив твой Петруша?

— Петруша-то? — Он оглянулся. — Когда уходил, еще красовался. А что, ваше благородие, были на нашем люнете?

— Был, когда отбивали.

— То-то вижу, лицо знакомое. А нас троих сюды перекинули. Теперь без меня Петруша.

— Давай, Фролов, давай! — закричал фейерверкер. — Заряд готовь, чего разговорился?

— А что спешить? — возразил Фролов. — Смотри, там какая дымина. Подождать надо маненько. Зарядов, почитай, полсотни осталось.

— Братцы, и правда! — сказал Лепихин. — Куда вы долбите? Подождите, колонна подтянется, и прямо ей в фас! Как раз полверсты будет!

— А вы не мешайте, — пытаюсь быть строгим, сказал молодой поручик. — Вы штатские господа.

— Э, штатские, штатские! — Лепихин стащил разодранный



сюртук.— Штатские, а баллистику знаем. Я, брат, пушки сам отливал. Говорю вам, дайте орудию отдохнуть, зря переводите ядра.

— Берестов! — крикнул он мне.— Сыграем расчет? Вон пушка свободна!

Он делал все быстро и ловко. Канониры прекратили стрельбу и смотрели на нас, поручик не возражал. Я помогал как мог. Лепихин орудовал банником, что-то подкручивал. Шестифунтовая медная пушка покорно ждала. Я погладил ствол, он был еще теплый.

— Смотрите на ту кавалькаду, — сказал Лепихин.— Да вон, вон она едет! Пожалуй что, генерал. Давайте пари. Если поедут ровно, через минуту их развалю!

— Эк сказал! — возразил кто-то.— Разве уцелишь? Которая каванкада, энта? Ни в жисть не уцелишь! Кабы картечью да ближе. Нет, не уцелишь...

— А! На что спорим? — крикнул распаленный Лепихин.

— Да хоть на что. На семитку?

— Давай на семитку!

Лепихин стал колдовать с наводкой. Всадники ехали медленным шагом. Волна дыма то набегала на них, то отлетала. Лепихин схватил фитиль. Бух! — пушка грохнула, прыгнула, откатилась.

— Пошла, — сказал кто-то.

Через несколько секунд едкий дым выстрела рассеялся. Всадники ехали тем же шагом.

— Пропала твоя семитка, — сказал канонир.— Говорил, ни в жисть не уцелишь.

— Пушки у вас черт знает что, — сказал Лепихин.— Какие, к чертям, пушки! Винты разболтаны, дула не чищены! Разве уцелишь?

— Пушки хорошие, — ответили канониры.— Стрелять —это тебе не книжки читать.

— Ладно, посмотрим, — сказал Лепихин.— Сейчас пристреляюсь, увидим тогда, какие книжки. Берестов, давайте заряд!

На нас обратили внимание, когда схватка за флеші кончилась. Французы оказались довольно близко, продольные наши выстрелы стали беспокоить фланг какого-то корпуса. Нас попытались накрыть, но стреляли почти вслепую, ядра сыпали стороной.

Наконец кавалерийская группа направилась в нашу сторону и подскакала довольно близко, мы даже попробовали до-

стать ее картечью. Кавалеристы внезапно разъехались и открыли батарею, уже снятую с передков.

Хитрость оказалась внезапной, но рискованной для французов. Их пушки стреляли с открытого места. Началась дуэль, а через полчаса кончилась тем, что только пять пушек из французских восьми сумели уехать невредимыми. Три вместе с расчетами остались на месте среди убитых лошадей и взорванных ящиков.

У нас положило семь человек и почти всех лошадей. Мы вынесли убитых в кусты, а раненые поковыляли в тылы. Строгого поручика мы положили в стороне умирать. Осколок пробил ему шею. Он безучастно смотрел в небо, и строгое выражение не покидало его лица.

Умирал и Фролов. Он что-то шептал. Я наклонился.

— Запах у него антиресный,— говорил он, закрыв глаза. Я подумал, что умирающий бредит.

— Запах...— снова проговорил он.— У Петруши. В точь как волосы у моей Алены... Значит, без меня ей там...

Он затих.

## 7

Листов не достал прикрытия. Он приехал раздраженный и сразу встал к пушке. Он сказал:

— Центр еще держится. Но как я смотрю, у нас очень важное место. Фрунт изогнулся дугой, а мы в середине. Французам как раз бы нажать сейчас с фланга, да тут наши пушки.

— Много ли мы сумеем? — сказал я.— Семь человек, и прикрытия нет. А если пехотой нас атакуют?

— Одна надежда, не догадаются,— сказал Листов.— Пушки им наши не посчитать, место для атаки неудобное, а прикрытия, даст бог, сами вообразят и не полезут.

— Полезут, полезут! — заверил Лепихин.— А вы полагаете, надо держать эту точку?

— Надо держать,— сказал Листов.— Тут между войсками провал, а помощи ждать неоткуда.

— Прекрасно! — Лепихин потер руки.

— Чему вы радуетесь?

— Дело, по крайней мере! Люблю я дела!

Стрельбой теперь заправлял Лепихин. Хоть первый выст-

рел был неудачным, выяснилось, что наводил он прекрасно. По крайней мере, две из трех подбитых пушек пришлось на его ядра.

— Ай, молодец! — говорили солдаты. — Ай да господин!

— Ребята, не пали понапрасну! — Лепихин бегал между орудий. — Куда целишь?

— Вон туда, — отвечал солдат.

— А если туда, прибавь линию! Чем зарядил, гранатой? Прибавь еще, а бомбой, так сбавь. Понимать надо!

— Вьедливый, едрена палка! — говорили солдаты.

Я уже различал пушки на слух. У каждой свой голос. Чуть глуше или резче. У этой с металлом, у той с бархатом.

Наша пушка французского литья, по стволу фривольные литеры: «Une petite gouquine» — «Рыжая малышка». Не задумываясь о происхождении, «малышка» исправно палила по своим.

Это был тот момент сражения, когда маршал Ней несколько раз просил Наполеона дать подкреплений. Но у того осталась одна гвардия, и после раздумий он только передвинул часть войск ближе к флешам, но в атаку не пустил.

Шел бой за Семеновскую. Второй армией теперь командовал спокойный Дохтуров. Кутузов знал, кого посылать в горячие точки сражения.

Где-то напротив нас строилась молодая гвардия Клапареда, где-то сзади подтягивался наш четвертый корпус. Все это я знал, но, конечно, не мог различить глазами. Каково генералам? Как они разбираются в этой сумятице?

Густые колонны шли на Семеновскую. В пороховом дыму начиналась схватка, а когда дым рассеивался, было видно, как через горы трупов разбредаются раненые. На смену шли другие колонны, опять сшибались в дыму, оставляли убитых, а раненые ковыляли назад. Уже восьмой или девятый час шла битва, и «Рыжая малышка» вносила свою долю, выплевывая горячие шары, гулко ахая и подпрыгивая.

Французы решили попытать счастья на батарее Раевского. До сотни пушек выстроились в километре от нас и стали обстреливать высоту.

Наша маленькая батарея была у них как бельмо на глазу, но пока нам везло, правда, зарядов оставалось все меньше.

Я вышел из оврага и стал оглядывать поле. Может, замечу брошенный передок или пороховой ящик. Но я увидел другое. На припадающей раненой лошади ехал Фальковский с писто-



летом в руке. Впереди без шапки, с растрепанной головой шел Федор Горелов.

— Эй! — кричал я и замахал руками.

Они не слышали. Я побежал и закричал снова. Фальковский увидел меня, остановился. Я подбежал, запыхавшись.

— Где же ваш brave ротмистр? — спросил Фальковский. — Я был на центральном редуте, как условились. Ведь он приглашал на обед. Увы, я остался без обеда. Правда, на закуску встретил старого знакомого.

— Листов здесь, — сказал я. — В ста шагах. Так что, если пожелаете...

— Он все еще занят обедом? — насмешливо спросил Фальковский.

— Он занят стрельбой по неприятелю.

Фальковский слез с седла и осмотрел ногу жеребца. Он будто раздумывал.

— Пожалуй, я все-таки отобедаю с вашим Листовым,— сказал он наконец.— Да и лошадь вот захромала.

— А ты иди,— сказал он вдруг резко Федору.

— Куда идти? — спросил Федор.

— Иди сражайся. А если уцелеешь, я тебя разыщу. Там подумаю...

— Сражаться? — сказал удивленный Федор.— Что ж, мы сражались. Сражаться можно везде. Тогда я с их благородием...— Он все еще с недоверием смотрел на Фальковского.

— Можешь с их благородием,— усмехнувшись, сказал Фальковский.

Так мы все трое оказались на батарее.

— Не ждали? — спросил Фальковский.— Я страшно проголодался.

Листов смутился вначале, но быстро овладел собой:

— Обед у нас самый простецкий — ядра и бомбы, картечь на десерт. Если вас не устраивает, можем перенести встречу, как вы предлагали.

— Но вы настаивали,— сказал Фальковский.

— Предупреждаю, прикрытия за нами нет,— сказал Листов.

— А, старый знакомый! — закричал Лепихин.— Какими судьбами? Ей-богу, мы как в театре!

— Как вы здесь очутились? — строго спросил Фальковский.

— Точно как в театре! — весело говорил Лепихин.— Все собрались на финал!

— Давайте-ка встанем к пушке,— сказал я Фальковскому.

— И вправду, капитан,— заметил Листов.— Обед, на который я вас приглашал, заключается в том, чтобы кормить неприятеля. Он нам отвечает тем же. Кто кого перекормит. Если остаетесь, возьмите банник, а нет — уезжайте скорей.

— Я бы рад уехать, да лошадь у меня захромала,— сказал Фальковский.

Залетная бомба повалила в овражке еще двоих и оцарапала плечо Лепихину. Мы продолжали стрелять из трех пушек. Листов оказался в паре с Лепихиным, Федор с рослым

бомбардиром, а нами с Фальковским командовал веселый фейерверкер.

— А ну-ка, господа! Ай да господа, век бы над вами ена-ралом!

Зарядов оставалось все меньше, и Лепихин требовал, чтобы стреляли наверняка. Я спросил:

— Где вы так научились?

— Когда-то испытывал пушки,— ответил он.

— А вы, однако, прекрасно заговорили по-русски,— заметил Фальковский.

— Не держите банник наперевес и сторонитесь колеса, ногу раздавит,— сказал Лепихин.

— Полицейская линия без вас не растает? — спросил я Фальковского.

— Ее уже нет,— ответил тот.— Разбросало.

— Так вот чему мы обязаны вашим визитом!

— Туманный вы человек, поручик,— сказал Фальковский.— Много вокруг вас понапутано.

— Так уж обязательно вам распутать?

— Интересно,— сказал Фальковский.— Мне многое интересно. Например, зачем очутился здесь мсье Леппих.

— А я не Леппих,— сказал внезапно подошедший Лепихин.

— Возможно,— сказал Фальковский.

— И не доктор Шмидт.

— А кто же?

— Ах, господин Фальковский! Вы все ведете неутомимый розыск. Даже здесь, в сражении. Да поймите, что все уже кончено. Вы еще вольны отсюда бежать, а нам нет дороги. Сейчас пехота пойдет, и всем конец. Быть может, своими пушками мы держим ту струнку сражения, на которой его судьба повисла!

— Слишком красиво выражаетесь.— Фальковский поморщился.

— Красиво! Вот умереть красиво — этого я хотел бы! Смерть — это славно. Раздвинуть шторку веков, заглянуть поглубже!

— Там ничего нет,— сказал Фальковский.

— Откуда вам знать? Время не подвержено полицейской инспекции. И еще вам мой совет, Фальковский: уезжайте, быстрее уезжайте. Еще полчаса, и в штыки нас возьмут, не выбраться никому.

— Я бы, напротив, советовал задуматься вам,— сказал Фальковский.— Сам государь интересуется вашим предприятием, а вы рискуете, как простой солдат.

— Уж не полагаете ли вы, что я собираюсь бежать к французам?

— Слишком просто меня толкуете,— сказал Фальковский.— Если я не уеду с батареи, вы голову сломаете, а не решите, зачем я это сделал.

— А вам и незачем,— сказал Лепихин.— Вас Ростопчин ждет, поезжайте...

Против нас строилась конница, справа накапливалась пехота. Шесть корпусов готовились к напору на центральный редут. Я осмотрел наш овражек. Мертвых уже не убирают. Вон лежит строгий поручик, он умер давно. А вот солдат Фролов, согнулся калачиком. Я вспомнил, как его губы шептали: «Запах у него антиресный...»

Внезапно сильно и ясно я вспомнил тот необыкновенный запах. Что-то еще тревожило память. Перед глазами возник тот день, когда я приехал в Бородино. На батарее Раевского из жестких пучков травы я выложил первые буквы polegших полков. Полтавский, Орловский, Ладожский, Егерский. Вышло П О Л Е. Остался Нижегородский полк. Я выложил «Н» в стороне, а потом догадался — Наташа! На этом месте мы виделись в последний раз. Я сорвал бледно-желтый цветок и положил его сверху. Я почувствовал крепкий, настойный запах...

Тот самый запах, тот самый цветок. Петруша — любимец солдата Фролова. Осколки, как в трубочке калейдоскопа, слагаются в цельную картинку. Наташа — Нижегородский полк. Брошенный поверх, как скрепка, желтый цветок. Слова пехотного капитана: «У нас в Нижегородском полку при лазаретной повозке была одна. Прелесть девушка. И сейчас где-то здесь, врачует...»

Неужто она? Стою в размышлении, сердце стучит. Что делать? В седло и в поле? Где-то Нижегородский полк, его лазаретная повозка. Поехать, искать, увидеть ее лицо под белым платком сестры милосердия...

Машинально иду в сторону Белки, из всех лошадей она одна уцелела.

— Берегись! — кричит фейерверкер.

Бомба шлепается невдалеке и начинает крутиться. Потом взрыв.

Этим взрывом Листову раздробило ступню. Мы сняли с него сапог и туго перетянули ногу. Лепихин все умел, он осмотрел рану и сказал:

— Осколков нет. Ногу положим повыше, и можете отдыхать.

Я предложил Листову посадить его в седло, а там уж как-нибудь выберется из гущи боя. Но он только усмехнулся и сказал:

— Посадите меня на ящик, буду подавать заряды.

— Много ли подавать,— сказал Лепихин,— на несколько залпов осталось.

— Берестов,— позвал Листов,— у меня к вам два слова. Я сел рядом.

— Помните, еще в деревне что-то хотел вам сказать, но вы уклонились?..

Я помнил. Правда, после этого между нами многое открылось, и я думал, тайн больше нет.

— Признаюсь вам напоследок,— сказал Листов.— Недоговоры лишь тяготят. Это в связи с женитьбой...— Он помолчал.— Невесту я тайно увез, до свадьбы вышло ей хорониться. Не стану всего подробно... история романтическая... Сплетни тут разные...

Я знал эту историю после «тихого бала».

— И переписку в тайне пришлось держать. В почтовой канцелярии армии был человек, игравший плохую роль. Он все знал про меня, так и вынюхивал, письма мог распечатать...

Листов говорил медленно, тяжело дыша.

— Когда вы уехали за границу, наверное, помните — почту свою просили пересылать товарища. Когда он погиб, а ведь был он и моим другом, я подумал, что мне надо взять на себя переправу. Такая мысль и для других была естественной. Только адреса вашего я не знал, но писем на ваше имя не было...— Он снова замолк.— И вот новая мысль... Я подумал, если письма ко мне будут идти на ваше имя, то минуют глаз того человека. Словом, на имя Берестова я стал получать почту...

— От невесты?

— Да, от нее. От Наташи.



— Наташи? Наташей ее зовут?

— Чему вы удивились?

— Так, совпадение.

— Наташей ее зовут,— повторил Листов.— Я так привык в разговорах не называть ее имя, что, кажется, и вам первый раз говорю.

— Да, первый раз.

— Все боялся обмолвиться. Уж больно много любопытных. Так и жаждут услышать историю из первых уст... Скучаю по ней...

Лицо его жалостливо исказилось.

— Знал, что не уцелею. Затем и в деревню рвался, обвенчаться спешил. Думал, пускай хоть фамилию мою носит, имя ей достанется, какое-никакое... Сирота она, Берестов...

Странное подозрение зародилось во мне. Он получал письма на имя Берестова. От невесты. Ее зовут Наташей...

— Сердитесь на меня? — спросил Листов.

— За что?

— Именем вашим воспользовался. Но вы за границу уехали... Наташа знает о вас...

— Что она знает?

— Ах, это такая история! Когда-то в их роду был знакомый по имени Берестов.

— И он подарил медальон,— сказал я.

— Да, медальон! — воскликнул Листов.— Откуда вы знаете? Это ваш родственник?

— Возможно,— сказал я.— Кое-кто полагает, что это я сам.

— Но медальон старый. Единственное, что у нее осталось.

— А вы забыли басни о моем возрасте?

— Берестов! — Листов взял мою руку.— Я знаю, я чувствую — между нами какая-то связь... через Наташу, через прошлое...

«Возможно, и через будущее»,— подумал я.

— У меня к вам одна просьба, голубчик. Если вдруг уцелеете, не забудьте о ней. Разыщите, помогите ей чем-нибудь. Она одна, совсем одна остается.

Он побледнел и закрыл глаза. Подбежал Лепихин.

— Сознание потерял, от боли. В ступню — это очень больно.

Я смотрел на Листова. Я думал: как же так, в чем ошибка? Значит, не мне письмо? Значит, та девушка не Наташа?

То есть Наташа, но не моя? Все перепуталось, моя жизнь скрестилась с другой...

— К пушкам! — кричит Лепихин. — Колонны пошли! К пушкам, ребята!

Густым блестящим потоком двинулась кавалерия. Одна колонна направляется прямо к нам. Вьются штандарты, блестят кирасы и шлемы, лес черных султанов колышется на ветру.

— Ждем на картечь! — кричит Лепихин.

— Фальковский, — говорю я, подавая наряд. — Это вы медальон добывали графу?

— Я, — говорит Фальковский.

— Польстились на мое имя? Не разобрались, что медальон старинный?

— Ждем, ждем еще, братцы! Пусть подойдут! — кричит Лепихин.

— Разобрались, отчего ж, — говорит Фальковский. — Но вы говорили, что медальон вашей кисти, а девушка на портрете ваша модель.

— И что же решили? Что мне сотня лет?

— Я ничего не решал. Такие раздумья в области графа. Он вами совсем очарован.

— Готовимся! — крикнул Лепихин.

Конница перешла на легкую рысь. У ручья они заберут вправо, там склон отлогий, значит, нужно их остановить у берега.

— Пли! — крикнул Лепихин.

Три пушки разом выплевывают рой свинцовой картечи, и та беспощадно врывается в голову колонны. Визг лошадей, сумятица.

— Заряжай! — бешено кричит Лепихин.

Мы заряжаем снова.

— Пли!

Новый выхлест картечи. Колонна отшатывается, топчет на месте. Третьим залпом мы увеличиваем гору упавших лошадей и всадников. Кавалерия откатывается и снова готовится к построению.

Лепихин вытирает мокрый лоб.

— Кабы знали, что нет здесь прикрытия, послали бы эскадрон врассыпную, и нам крышка. Саксонские кирасиры...

Колонна опять наступает, и мы делаем пять залпов, прежде чем кирасиры отходят снова.

— Эй! — кричит им Лепихин. — Так вас растак, черные крысы! Съели каши?

— Что вы ругаетесь, ваше благородие? — говорит фейерверкер. — Стражения дело святое, нельзя тут ругаться, бог накажет.

— Накажет? — говорит Лепихин. — Ха-ха! Куда же больше наказывать? Смерть предстоит!

— А за смертью еще чего будет, — серьезно говорит фейерверкер.

— Думаешь, будет? А ну как ты прав, дядя? Славно, ребята, славно! Скоро порубят нас в капусту! Смотрите, какие здоровяки!

— Да уж порубят, — соглашается фейерверкер.

— Фальковский, — говорит Лепихин, — душа! Вот уж не думал, что не уйдете.

— Говорил, сломаете голову.

— Ах, братцы! — восклицает Лепихин. — Вот где жаровня! Каждая струнка трепещет! Вы чувствуете? — Он втягивает воздух ноздрями. — Это запах времени!

— Запах пороха, — усмехается Фальковский.

— Бросьте, приятель! Это время, его поджаривают на сковородке! Скоро оно до дыр прогорит и — ах! — ухнем мы с вами в другие просторы!

— Да вы поэт, — говорит Фальковский.

Я подошел к Листову. Он пришел в сознание и пытался подняться.

— Лежите, лежите, — сказал я.

— Берестов, — проговорил он, — вы все-таки обещайте мне ее разыскать.

Я спросил:

— У нее темно-серые глаза? Иногда голубые?

— Да, как на том портрете.

— А делает она головой вот так, чтобы откинуть со лба волосы?

— Именно так. — Он восторженно воскликнул: — Откуда вы знаете? Вы видели ее?

— Может быть. Когда-то, быть может, и видел...

Что мне всегда казалось таким знакомым в Листове? Даже в походке его и жестах? Наташа — вот первое, в чем ищу объяснений. Ее глаза, ее лицо, ее голос — быть может, они таинственно отразились в Листове, придав ему неуловимое сходство... Но с кем же? Со мной?..



Быть может, Листов мое зеркало? В нем проступает жизнь моя из других времен?..

— К пушкам! — кричит Лепихин.

— На три залпа осталось, — говорит фейерверкер. — Стало быть, прощайте, братцы.

— Вот тут бы ему и появиться, — как бы про себя говорит Листов.

— Кому? — спрашиваю я.

— На белом коне... — бормочет он.

— Багратиону?

Он что-то шепчет, опираясь на локоть. Лицо совсем блед-



ное. О ком он вспомнил в эту минуту? Багратион, Барклай... Да, впрочем, и Кутузов на белом коне.

— Где же он? — стиснув зубы, произносит Листов.

Внезапно я понимаю: он говорит о всаднике из бородинской легенды. Да, да, о нем. Конечно.

— Займите же место, черт побери! — кричит Лепихин.

Я бегу к пушке. Мы заряжаем, накатываем орудие к брустверу. Вокруг нас, насколько охватывает глаз, карусель конницы. Кипит кавалерийский бой. Сзади, слева и справа. Наш овражек в середине огромного амфитеатра блистающих сабель, несущихся лошадей, кричащих всадников. Драгуны в

гладиаторских касках, уланы в киверах, похожих на цветы граммофончики, кирасиры, искрящиеся, как рой майских жуков, белые кавалергарды, черные конногвардейцы, разноцветные драгуны. Все это битва показывает через клубы пыли, как моментальные картинки. Они были бы красивы, особенно издалека, если бы не ужасный лязг, вопли, визг лошадей...

Чуть ли не половина французской конницы погибла в этом бою, охватившем склоны холма и Семеновского оврага. Не успевала одна сторона взять верх, как в атаку бросались свежие полки, и чаша весов колебалась. Эскадрон за эскадрон кидались в рубку, сотрясая тяжелым топотом Бородинское поле.

Где-то за нашей спиной яростная пехота четвертого корпуса бросается в штыки на кирасиров Лоржа. Уже погиб отчаянный генерал Коленкур, он первым ворвался на батарею Раевского. Пройдет полчаса, и упадет исколотый генерал Лихачев, последний защитник батареи...

Наконец, атакуют и нас. Мы делаем подряд два залпа, осталось по одному заряду. Кавалерия переходит на рысь.

— Ближе, ближе! — кричит Лепихин. — Пли!

Неровно грохнули три выстрела.

— Ах, рано! — кричит Лепихин.

Да, рано. Кирасиры чуть отшатнулись, шарахнулись в стороны, но тут же сбились плотней, взмахнули саблями.

— Все! — сказал Лепихин.

Остановить их нечем. Мы судорожно бегаем по овражку, хватая что попадется под руку. Кто банник, кто штык, кто простой обломок.

Но что это? Кирасиры вдруг забирают вправо. Гораздо правее, чем нужно для переправы. Они уже скачут вдоль ручья, удаляясь от нас. Распаленные, мы карабкаемся на бруствер, раздвигаем кусты. Ах, вот в чем дело! Саксонцев атакуют наши драгуны. Колонне пришлось свернуть, чтобы не подставлять фланг.

— Вот так повезло! Вот так славно! — ликует фейерверкер.

Мы радостно кричим и машем руками. Но повезло, да не очень. Драгуны так налетели, так ударили, что вся масса сражающихся начинает ползти обратно. Прямо к ручью, прямо к нашему овражку. Страшная рубка. Сабли сверкают в пыли, щелкают пистолетные выстрелы. Все ближе и ближе. Вот

схватка идет уже по склонам ручья и в воде. Какая-то неразбериха. Падают всадники, лошади, брызги летят фонтаном. Мы смотрим как замороженные. Лепихин начинает заряжать пистолет.

— Сейчас будет, сейчас будет...— повторяет он.— Да что вы стоите! — кричит яростно.

— А чего? — удивленно спрашивает фейерверкер.— Бежать, что ли? Куды бежать-то?

— Мсье Леппиху надо...— начинает Фальковский, но хватается за грудь и падает.

Я наклоняюсь к нему.

— Расстегните...— говорит он еле слышно.

Я расстегнул мундир. Там на рубашке расплывается красное пятно.

— В кармане,— говорит он.

Нахожу внутренний карман, что-то нащупываю и достаю. Медальон...

Глаза его наполняются влагой.

— Все тлен...

Я сжимаю в руке медальон. Я смотрю на этого непонятно-го человека. Он ранен, быть может, смертельно.

— Все тлен,— повторяет он.

Звонящей, кричащей толпой сваливается к нам в овраг де-рущаяся кавалерия. Я выхватываю пистолет. Лепихин, вскочив на пушку, размахивает банником. Федор тащит с седла кирасира. Падает, закрыв лицо, фейерверкер. Листов, прислонившись к лафету, поднимает свой пистолет.

— Смерти нет, ребята! — кричит Лепихин.— Смерти нет!

Лошадь толкает меня потной грудью. Одновременно получаю удар. Сноп искр в голове, потом темнота.

## 9

Очнулся я в сумраке. День догорал, догорало сражение, но грохот все еще стоял над Бородинским полем.

Сначала я не мог ничего понять. Я только механически пытался выбраться из груды наваленных тел. Еще теплый бок мертвой лошади, твердая кираса, чья-то рука, накатившееся ядро. Я разгребал все это, стараясь выпутаться, и каждое движение отзывалось болью. Особенно болела голова.



Наконец я встал и пошел. Я плохо представлял, что случилось. Какие-то лица, крики мелькали в сознании. Я шел, не зная куда.

Солнце закатилось, оставив темно-багровую полосу. То и дело обхожу груды убитых. Много раненых лошадей. Они стоят, не в силах подняться: у них перебиты хребты. Стонут и люди, со всех сторон полутемного поля доносится стон.

Я опускаюсь на землю, сознание проясняется. Нас перебили в овражке. Один ли я уцелел? Что теперь делать, может,



вернуться? Но все темнее над полем, пожалуй, и не найду. Я очень слаб, кровь течет по щеке, перед глазами все как в муаре.

Ложусь, примостив голову на жерло опрокинутой пушки. Вокруг меня в разных позах солдаты, некоторые еще живы. Быть может, это батарея Раевского? Видны остатки бруствера, за ним сумрачно белеет колокольня бородинской церкви.

Внезапно вижу цветок. Между убитыми, рядом с поваленным лафетом, через спицы разбитого колеса, он тянет свои желтые лепестки. Неужто тот самый, который оберегал артиллерист Фролов? Не затоптан сапогами, копытами, не срезан осколком, не опален огнем.

Гляжу на цветок, пытаюсь уловить его запах. Четыре лепестка, между ними звездочкой еще четыре поменьше. Лютик не лютик... Как же ты уцелел, цветочек?

Рядом с моей головой, чуть не касаясь щеки, плечо солдата. Желтый перепачканный погон. Слева еще солдат, у этого погоны темно-зеленые с красным кантом. Пехотинцы. Да, видно, я попал на батарею Раевского. Этот холм как магнитный полюс. С него началось мое путешествие в Бородино, сюда я вернулся безотчетно в конце сражения. Батарею Раевского защищала пехота. Сколько их полегло здесь, орловцев, ладожцев, полтавцев, нижегородцев, уфимцев, томичей...

Солдаты двенадцатого года! Я видел, как в ночь перед боем вы надевали чистые рубахи. Я видел, как утром вы умирали. Я слышал ваши ласковые, неуклюжие шутки. Даже перед смертью вы шутили. Я видел, как вы страдали от ран, и воспоминание о доме внезапным теплом пробежало в широко открытые глаза.

...Мне чудится, идет через поле босоногая Дашка, девчонка из деревни Листовых. Она идет, спрашивает убитых:

— Тятку моего не видали?

— Какой из себя?

— Большого росту и добрый. Меня за волосья совсем не дерет.

— Большой, говоришь? — Павшие размышляют. — Это, по-ди, гренадер. Слышь, Ахванасий, глянь, нету там гренадера?

— Под лошадью рази? — бормочет Афанасий. — Да рази сыщешь. Тот совсем разорватый. Ядром, значит, в пояс.

— Нету, миленькая, — отвечают из груди. — Ежели гренадер, это на флешах. Вниз по холму ступай. А то и вовсе живой твой папанька, тогда по войску ищи.

Дашка идет. Кто-то вздыхает:

— Славна какая девчушка. Конфекту бы ей.

— Ишь ты, конфекту. Много видал ты в жизни конфектов?

— То и толкую, голова. Ей конфекту, не мне. Уж больно живая девчушка. Слышь, звенит, будто колокольцем.

— Тятьку моего не видали? — слышится Дашкин голос.

— Я ведь чего размышляю, — вступает кто-то, — выйдет нам после этого боя воля? Сражались ведь как-никак. Кровь за Расею проливали.

В ответ усмехнулись:

— Ишь размечтался, воля! Каким же макарон выйдешь тебе эта воля? Ее надо клещами тянуть. Ишь размечтался, воля!

— Да рази я о себе? — бормочет тот. — Я-то убитый. Я об живых беспокоюсь.

— Живые сами сообразят.

— Тятьку моего не видали? — слышится Дашкин голос.

Дашка, Дашка, маленькая девчушка. Может, убит твой тятка, может, живой. Может, лежит со смертельной раной и думает о тебе, о мамке, о своей деревне. Сколько отцов не вернется с поля Бородина, сколько сироток побредет по миру! Сними с головы платочек, Дашка, проводи концом по земле, спой тихую песенку:

Сколько цветиков на воле,  
столько мертвых в чистом поле.  
Спите, спите, не тужите,  
будет вам иная доля.

И все поле мужским приглушенным хором подхватит:

Спите, спите, не тужите,  
будет вам иная доля...

Все реже бухают пушки. Темнота скоро накроет истерзанное, стонущее поле. Каждый метр его изрыт ядрами, бомбами, картечью, затоптан копытами, сапогами, полит кровью. Как были нарядны утром полки, как красиво гарцевали генералы!

Где ты, Багратион? С глазами, устремленными в низкий потолок, ты лежишь сейчас в душной избе, слушая утихающий гул сражения. Кровавая повязка на ноге, на голове мокрое полотенце. «Как там?» — спрашиваешь ты ежеминутно. «Стоим, ваше сиятельство». В полубреду, умирающий, ты бор-

мочешь: «Резервы надобно поберечь, резервы... Шатилову передай, чтоб не медлил... Передай Шатилову...»

Где ты, Барклай? Не отрываясь, до головной боли, ты смотришь на карту. «Командиров полков ко мне. Потери, считайте тотчас потери... Милорадовичу занять высоту двумя батальонами, подготовить позицию». А в голове неотрывно мысль: «Как же я уцелел? Как не взяла меня пуля? Все адъютанты выбиты, а я живой. Надо бы завтра поосторожней. С Багратионом худо. Что же завтра, что завтра?..»

Где ты, Кутузов? Старческим мелким шагом бегаешь по избе. Диктуешь писарю: «...из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел...» Что, ужин? Унеси, братец, ужинать после боя станем. «...Сегодняшнюю ночь устроить все войско в порядок, снабдить артиллерию новыми зарядами и завтра возобновить сражение...» Думаешь, думаешь, думаешь... Стоять или отойти, дать бой на новых позициях? Кажется, Бонапарт не пускал еще гвардию. А что у нас? Потери большие. Будет ли подкрепление от Ростопчина?..

Подкрепления не будет. Мечется по Москве Ростопчин, зовет мужиков вооружаться топорами и вилами. Он не верит, что устоит Кутузов, он верит только в себя: «Своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, кликну клич дня за два...» И он действительно кликнет этот клич, толпа соберется, но не видать ей Ростопчина. «Сумасшедший Федька» в это время будет театрально жечь свою усадьбу, негодовать на Кутузова и придумывать новые планы спасения отечества...

Странное место — батарея Раевского. Занята французами, а пуста. Только мертвые да разбитые пушки охраняют ее. Денис Давыдов! Не ты ли давным-давно бегал здесь босоногий с бородинскими мальчишками наперегонки? Не ты ли потом написал слова: «Эти поля, это село мне были более нежели другим знакомы! Там я провел беспечные лета детства моего и ощутил первые порывы к любви и славе! Но в каком виде я нашел колыбель моей юности! Дом отеческой одевался дымом биваков, и войско толпилось на родимых холмах и долинах; там, на пригорке, где я некогда резвился, закладывали редут Раевского...»

Видел бы ты этот пригорок сегодня, Денис Давыдов! Где ты сейчас? Далеко ли успел отъехать со своими гусарами? Быть может, ты слышал грохот боя, быть может, порывался вернуться. Воспоминание об этом дне всю жизнь будет мучить тебя:

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,  
отдайте мне ваш день, день вековой славы.

Разве не тебе на белом аргамаке летать в грохоте Бородинского боя, разве не тебе размахивать острой саблей и яростно кричать: «Круши, гусары!»

Битва предстала передо мной глазами поэта. Огромное эпическое действие, в котором у каждого своя роль. И может, наш овражек вошел туда маленькой драмой. Все мы — ее участники: Лепихин, Листов и Федор, веселый фейерверкер, строгий поручик и солдат Фролов.

Я видел, как в сражении преображались люди. Лепихин, кажется, и забыл о своем опыте. Замкнутый Листов с нежностью заговорил о Наташе. Фальковского потянуло в водоворот боя.

Сражение похоже на огромную печь, в которой идет переплавка. Старое перегорает, рождается новое. Тысячи небольших перемен складываются в одну огромную. Бородинский бой, ты яркая вспышка в судьбе России!..

Я лежал спиной на бородинской земле и чувствовал, как она содрогалась от выстрелов. От нее исходил озноб. Ручьи и реки текли по ней, как кровеносные сосуды. Война, Колоча, Огник, Стонец. Да, видно, немало испытала эта земля, если прижились на ней такие горячие имена. Быть может, так же, как я, лежал на этом холме когда-то воин в кольчуге и красном плаще. Лежал со смертельной раной, сжимая рукоять меча. Вокруг него частокол сломанных копий и сабель, груды помятых щитов и разбитых шлемов, вокруг него бойцы, свои и чужие, убитые и еще живые. Быть может, он думал о нас. Он старался представить, каким будет тот, кто спустя века упадет на его месте с такой же глубокой раной. Он обращался к нему с простыми словами: «Брат, возьми меч из моей руки». О воин, разве пора нам умирать? Разве мало еще дел на этой земле? Разве не нам скажет бородинский ездец, всадник лихой: «Вставайте, нет вам погибели. Будут еще сраженья. Сколько земля живет, столько и вам придется. Вставайте, вставайте...»

О бородинский всадник! Через грохот сражений, через века пронеси наши чистые помыслы, соедини наши сердца, дай вечную жизнь тому, кто сложил голову на Бородинском поле...

Холодно лежать на земле. Я в полузабытьи. Болит голова.

Что там, опасная рана или простая ссадина? Нет сил поднять руку и притронуться.

Жил я на свете, не знал заботы. Но придумал себе Берестова и стал им. Полюбил Бородинское поле и попал на него. Среди тех, кто пришел сюда из далекого Берестова, что под Киевом, были, видно, и люди по имени Берестовы. А может быть, все они Берестовы, так ведь водилось тогда на Руси. Вдруг и моя странная биография причастна к этой легенде? Все мы к чему-то причастны. Все мы связаны между собой. Листов, я и Наташа. Жизни наши переплетены так крепко, что время не в силах их расщепить.

Вот, скажем, Артюшин, полковник в отставке. И он ведь лежал у кургана Раевского в сорок первом году двадцатого столетия. Лежал или будет лежать? Время смешалось в моей голове. Где он теперь, Артюшин? Я помню его рассказ. Он выполз из дота за патронами, но пулеметная очередь из подходившего танка раздробила ему плечо. Он лежал и прощался с жизнью, но граната, брошенная товарищем, осадила танк. Здесь, на Бородинском поле, среди гранитных монументов прошлого века ворочались стальные громады и очереди плели в воздухе свинцовую сетку.

Полковник Артюшин, подполковник Давыдов... Длинной вереницей двигались в памяти лица, и все они смотрели на меня, что-то спрашивали. Все они составляли большую толпу, которая шла бесконечным потоком через поле, через века...

С утробным гулом, уже в каком-то изнеможении надрывались пушки. Ветер всколыхнул над полем тяжелый уксусный запах пороха. В голове моей нарастало тяжелое забытье.

## 10

Утром я проснулся или очнулся от того, что теплое и мягкое толкало меня в лицо. Я открыл глаза. Белка! Она стояла рядом, опустив голову, и внимательно смотрела на меня.

Белка! Как уцелела, как отыскала меня?

Я приподнялся с трудом, сел и едва притронулся к голове, как острая боль пронзила виски. Наверное, сабельный удар. Почти не двигается рука, онемели ноги. Мне очень плохо, тошнота подступает к горлу.

Но Белка, Белка продолжала смотреть внимательно, потряхивала головой и словно приглашала в седло.

Кое-как я сумел взобраться. Белка пошла медленно, пробираясь между телами.

Моросил мелкий дождик, небо всматривалось подслеповато. Две армии, бившиеся вчера, теперь отшатнулись, оставив на поле сто тысяч трупов, из них половину людских, из них несколько тысяч еще живых, но все равно уже мертвых, потому что некому было помочь им. Сто тысяч трупов навалены в поле, и до глубокой осени их не тронет никто.

Я очень хотел пить, Белка спускалась к Колоче. Хотя бы глоток воды! Но река запружена убитыми, их спины торчат на поверхности, руки плавают на воде. Река еле пробивается через эту запруду. Она готова выскочить из берегов, но сделать это не в силах, она только обморочно взблескивает рябью.

Две армии не решились продолжить сражение. Французы отпрянули еще ночью, русские отошли утром. В этом скопище убитых и нельзя было продолжить сражение. Каждая канавка поля имеет значение для успеха боя. Полководцы долго ищут подходящее место, расчищают его, строят редуты. Но теперь все главные укрепления так изуродованы бомбами, ядрами, так завалены разбитыми пушками, зарядными ящиками, мертвыми лошадьми, что новый бой на них не был бы стройным сражением. Он превратился бы в свалку среди лабиринтов тел, в игру без правил.

Французы не нападали на русских утром, русские не нападали на французов. Русские отошли, французам отходить было некуда. Неумолимый рок гнал их вперед, на погибель. Они уже потеряли почти шестьдесят тысяч, из них половину убитыми. Скоро они потеряют всю армию. Русские потеряли на двадцать тысяч меньше...

Сражение кончено. Чего я только не видел в нем! Я видел, как ядра залетали в дуло пушки, как сталкивались в воздухе бомбы. Я видел, как граната пробила грудь лошади, взорвалась внутри, а всадник взлетел метра на три, но остался цел.

Я видел, как канонир с оторванной рукой другой орудовал банником. Я видел огромных французских кирасир на тяжелых конях. Они неслись в атаку, бросив поводья, сабля в зубах, в руках пистолеты.

Я видел русскую пехоту. Она в исступлении гналась за бегущей конницей Мюрата, бросая вдогонку ружья наподобие



копий. Штыки гнулись, вонзаясь в крупы французских лошадей.

Я видел, как сходились врукопашную батальоны, яростно дрались, разбредались и строились в бою. Опять сходились, опять свалка, построение — каждый раз все ближе и ближе. Наконец, в десяти шагах друг от друга, с окровавленными штыками они стояли фронт к фронту в изнеможении, не в силах атаковать, но еще в силах не отступить ни шагу...

Несколько человек бродит по полю. Это солдаты великой армии. Они озираются с изумлением, они в полусне. Вчерашнюю ночь они провели, положив головы на убитых. Стоны раненых были их кошмаром. Не в силах развести костры, без глотка воды они повалились на холодную землю и так цепели до утра.

Теперь некоторые проснулись. Они бредут по полю, они не могут прийти в себя, они не отзываются на крики раненых, они больны — душа их поражена недоумением.

Какой-то солдат узнает другого.

— Пьетро! — окликает он хрипло.

— Антонио!

Они смотрят друг на друга, потом обнимаются и плачут.

— Неужто мы живы, Антонио?

Это солдаты итальянской гвардии. Кроме них, десятки тысяч других из всех стран Европы принимали участие в бое.

Какая-то кавалькада приближается издалека. Солдаты всматриваются.

— Это император!

— Эх, Антонио, не видать нам больше Тосканы.

На меня солдаты не обращают внимания. Свита приближается. Да, это Наполеон. Он всегда осматривает поле сражения. Солдаты выпрямляются. Один кричит хрипло:

— Да здравствует император!

Другой стоит молча.

Наполеон проезжает мимо, не повернув головы. Он едет прямо ко мне и останавливается в нескольких шагах. Я вижу лицо полководца. Оно похоже на восковой слепок, бледное, с желтоватым оттенком. Оно осело в воротник сюртука, под глазами отеки, черная шляпа надвинута низко. Тонкие губы с опущенными углами, пристальный и в то же время отсутствующий взгляд.

— Кто вы? — спрашивает Наполеон.

Я молчу.

— Это русский! — восклицает кто-то из свиты, и сразу несколько всадников трогается ко мне.

Наполеон делает знак рукой:

— Оставьте его. — Он продолжает смотреть на меня.

— Но это русский, ваше величество!

— Оставьте его, — повторяет Наполеон. — Все кончено.

Завоеватель Европы. Этот человек любил разговаривать с пленными, любил сказать красивое слово на поле боя. Теперь он молчал. Он только сказал: «Оставьте его, все кончено». Что он имел в виду? Сражение кончено? Или внезапным и мрачным озарением он понял, что кончено все и прошлый день стал переломным в его судьбе, в судьбе его армии?

Он поворачивает коня и уезжает, опустив голову. Утром ему доложили, что сорок девять генералов выбыли из строя. Он никогда не считал ни солдат, ни генералов, убитых в сражении, иначе он не был бы великим полководцем. Он видел перед собой только победу и смерть во имя ее считал героической.

Но сегодня, быть может, он думал, что если пойдет так и





дальше, то ему просто не хватит ни солдат, ни генералов, чтобы покорить Россию. Он едет среди убитых, не говоря ни слова, и вся кавалькада молчит, опустив треуголки на бледные утомленные лица.

Я тоже продолжаю свой путь. Голова гудит, в сознании беспорядок. Я даже не понимаю, кто я. То ощущаю себя Берестовым, поручиком со странной судьбой, то себя прежним, пришедшим на Бородинское поле, то Листовым, рядом с которым Наташа, то кем-то еще, вместившим в себя сразу всех.

Безотчетно ищу то место, откуда ушел вчера вечером. Ищу наш овражек, оборонявшийся до последнего. Скорее, Белка ищет его, поводья опущены.

И вот нахожу, узнаю его. Тихо ржет Белка. Травы здесь совсем не осталось, верхний слой почвы взрыт и перемешан. По-прежнему мокрая пыль летит с неба, что-то безжизненное проступает и в природе.

Я сразу узнал Федора. Он мертвый сидел у лафета, одной рукой обнимая ядро, другой сжимая обломок клинка. Лицо его было хмурым и торжественным, остекленевшие глаза прямо смотрели перед собой. Капли дождя сбегали по щекам и падали с усов.

Вокруг него сплетение тел. Саксонские кирасиры с пистолетами в онемевших руках, русские драгуны с погнутыми палашами. Ни Лепихина, ни Фальковского я не заметил, быть может, их завалило трупам. Но я увидел Листова.

Он лежал в стороне у последней пушки. Белая рубашка перепачкана землей и кровью, глаза закрыты. Стиснув зубы от боли, я слез с седла и сделал несколько шагов. Мертв? Я даже не мог наклониться. Если наклонюсь, упаду, потеряю сознание.

Вдруг веки Листова дрогнули и приоткрылись. Он был еще жив. Он увидел меня, губы его дрогнули.

Почему умирает он, почему не я? Это несправедливо. Мое назначение так неясно, а у него много дел впереди. У него Наташа.

Медальон в нагрудном кармане. Я говорю себе: часть моей жизни принадлежит Листову, и здесь и в будущем. Ведь это он скакал на Белке впереди батальона во время знаменитой атаки на батарею Раевского. Это ему принадлежит золотая шпага за храбрость, дарованная поручику Берестову. Даже письмо, с которого начались мои приключения, написано ему.

Но это не все. Он спас мне жизнь. Это он стрелял в саксонского кирасира, когда тот занес надо мной палаш. Да, да. Я видел, как он поднимал пистолет, как прыгнул из дула дымок выстрела, как черный саксонец вздрогнул, отшатнулся. Он раскроил бы мне голову, этот закованный в латы рыцарь девятнадцатого века, но рука уже опускалась безвольно, и палаш только скользнул по моей голове. Как знать, быть может, этим выстрелом Листов обрекал себя. Если бы, раненный, он просто лежал у лафета, смерть могла обойти его. Но он стрелял, и кто-то другой кинулся на него с поднятым клинком...

Да, да, так и было. Он спас меня ценой своей жизни. Я бы хотел сделать для него то же самое. Но как?

Я смотрел на Листова. Ты брат мой, ты мое отражение в веках, мы единое целое. Что же, когда-то я не был Берестовым, а стал им, потому что проникся его жизнью. Теперь я

проникся твоей, которая уходит. Я проникся всеми жизнями, погасшими на холмистой равнине Бородинского поля.

Листов бледен, он умирает. Чем я могу помочь ему? Я только бормочу:

— Потерпи немного. Мне тоже больно...

Вот детское утешение: «Мне тоже...» Что еще сказать, чем скрасить его последние минуты? Медальон просится из кармана. Быть может, взгляд на ее лицо будет последним успокоением Листову.

Я расстегиваю пуговицы доломана, достаю медальон. Вот оно, крохотное зеркальце времени, в котором я увидел свою Наташу. Тонкая серебряная цепочка горсткой собралась в руке, медальон похож на сплющенное яйцо, расписанное тонким узором, сиреневым, розовым, голубым. Я открываю крышку. Из темно-голубого овала ее лицо смотрит на меня печально и нежно. Сумеречный свет неба кладет на него пепельный оттенок. Несколько капель крохотным бисером падают на эмаль, на ее лицо. Они вздрагивают, как от холода, скатываются к серебряному ободку, где мелкой вязью написано: «А. Берестов».

Наташа... Если предчувствие не обманывает меня, ты где-то здесь, совсем рядом. В белом платке сестры милосердия ты бродишь среди раненых, вглядываясь в их лица. «Сестрица, — стонет кто-то, — сестрица...» Ты поправляешь повязку, даешь воды. Ты гладишь горячие лбы, и эта последняя ласка трепетом отзывается в сердцах умирающих. Они все твои братья. Кого ты ищешь среди них? Меня, Листова? И, может быть, поиск этот будет длиться всегда. Мы будем сходиться и расходиться, встречаться и расставаться, мы будем стремиться друг к другу. Сотни других людей мы встретим на нашем пути и поймем, что они тоже ищут кого-то. Весь мир — это огромное кочевье любящих сердец, которые хотят отыскать друг друга...

Наташа, я бы хотел поменяться с Листовым местами, но пока я могу только отдать ему медальон. Я уже не вспоминаю о своей голове. Я держу в руке плоскую овальную коробочку, внутри которой таится облик его любимой. Я говорю:

— Возьми, это твое.

Я наклоняюсь медленно, тяну руку, в глазах начинает темнеть, по голове словно бритвой. И в тот момент, когда другая рука встречает мою, в сознании вспыхивает ослепительный шар. Потом чернота, я проваливаюсь в бездну...

Проходят мгновения. Не знаю, сколько мгновений. Сознание возвращается. Я вижу себя лежащим у лафета в белой рубашке, перепачканной землей и кровью. Я смотрю на свою раздробленную ступню, я чувствую в груди глубокую рану от сабельного удара. В правой руке я сжимаю маленький предмет.

Взор проясняется. Перед собой я вижу всадника на белом коне. Он в черном мундире с красными шнурами. У него узкое лицо с твердо сжатыми губами. Его глаза горят торжественным светом.

— Ты догадался? — говорит он. — Ты понял, кто я?

Да, отвечаю безмолвно, я понял.

— Сто тысяч, — говорит он. — На этот раз сто тысяч без малого, я считал.

Он приподнялся в седле и оглядел поле боя.

— Своих я знаю в лицо. Вот он из моих. — Он показал на Федора.

«А я?» — попытались сказать мои губы. Он словно понял и взглядом ответил мне: «Ты уже сделал все, что сумел». Белый конь под ним нетерпеливо перебирал ногами.

— Прощай, — сказал он, — потерпи. Теперь уж недолго осталось.

Он тронул коня и медленно двинулся через поле. Его черный с красным мундир, его белая лошадь сияли в дождевой пелене с фосфорической силой. Его взгляд с мощью прожектора рассекал водяную морось и озарял лица павших...

Я лежал с открытыми глазами. Я ни о чем не думал. В руке я сжимал предмет, похожий на теплый голыш. В груди я чувствовал рану, туда проникал тяжкий холод...

Я ни о чем не думал. Перед глазами низкое мокрое небо. В сите дождя качаются знакомые тени. Они машут руками, зовут. Среди них я пытаюсь вообразить свою звезду, я напрягаюсь, и вот она начинает сиять пронзительным серым осколком...



*Жизнь, зачем ты мне дана?*

А. Пушкин

Я проснулся в сладкой истоме. Блестящие спицы сена, гнутые, сломанные, перепутанные, пахучим ворохом окружают меня. Я слышу радостный щебет птиц, в щели своего укрытия вижу небо, синее до прохлады, хотя воздух жарок, особенно здесь, в стогу.

Как долго я спал! Я потягиваюсь, рукой откидываю пласты сена и долго гляжу в небо. Там с сумасшедшим счастливым криком вьются малые птицы. Небольшое облачко, крепкое, как фарфоровый слиток, плывет, ослепленное солнцем. Тихо, едва касаясь, пролетает ветерок. Он только поправляет узор ниточек сена и растворяется в солнцепеке.

Такое же счастливое, как природа, передо мной появляется круглое личико. Оно подсвечено отблеском солнца. Оно прозрачно, на щеках розовые акварельные блики, голубые глаза светятся любопытством.

Я узнаю ее. Это школьница, которая убеждала меня оберегать памятники. Белый бант трепещет над головой, как большая стрекоза. Она долго смотрит и наконец спрашивает, стараясь придать голосу строгость:

— А вы от кого прячетесь?

— Я не прячусь, я просто сплю.

— Тут?..— Она раздумывает, потом говорит шепотом, как соучастница: — Только сено поправьте. Дедка Анисим заметит.

— Поправлю,— обещаю я.

— Ага,— говорит она.— Поправьте.— Она качает портфелем и спрашивает совсем уж доверительно: — А хорошо там внутри?

- Очень.
- Там всякие мышцы живут.
- Мышей я не видел.
- Ага,— соглашается она.— А я в школу иду.
- В каком ты классе?
- Во втором. Ой, на урок опоздаю!
- Она убегает и кричит издалека:
- Только сено поправьте, а то вам будет!

Стебли высокой травы скрывают ее крепкие загорелые ноги. Она бежит мимо розовых, серых и черных монументов. Гранит провожает ее безмолвным взглядом. Она бежит маленькая, беспечная, похожая на мотылька с белыми крылышками бантов. Мне кажется, монументы вздыхают и шепчут глухо и ласково: «Славна такая девчушка, конфекту бы ей...»

Она бежит вприпрыжку, срывая головки цветов и качая черным блестящим портфелем.

Как долго я спал! Какой волшебный освежительный сон! Я гляжу в синее небо, каждая точка его кажется мне маленьким колокольчиком, а синева превращается в звенящее золото.

В этом ликующем звоне я слышу вопрос, пришедший из бородинского сна. Кто мы, зачем живем, что значит наша жизнь для грядущего? И каждая струнка сознания, каждый мускул тела радостно напрягаются при этих словах. Они как пронзительный звук трубы в грохоте боя...

Только щебет птиц, только молчание неба, только горение солнца над головой. Я лежу на сене в сладкой истоме. Что-то мешает мне. Я замечаю, как крепко сжата правая рука. Она почти онемела.

С трудом разжимаю пальцы. На ладони, раскрывшийся сам собой, вздрагивает медальон. Луч солнца попадает в его середину и загорается там блестящей звездой.



ДЛЯ СТАРШЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*Константин Константинович Сергиенко*

## **БОРОДИНСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ**

Повесть

ИБ № 5517

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*

Художественный редактор *С. И. Нижняя*

Технический редактор *И. П. Савенкова*

Корректоры *В. В. Борисова* и  
*Г. В. Русакова*

Сдано в набор 27.08.80. Подписано к печати 22.12.80.  
Формат 60×84/16. Бумага типогр. № 2. Шрифт ли-  
тературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,09.  
Уч.-изд. л. 11,74. Тираж 75 000 экз. Заказ 2191.  
Цена 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство  
«Детская литература» Государственного комитета  
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной  
торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Дет-  
ская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государ-  
ственного комитета РСФСР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущёвский  
вал, 49.

*ДОРОГИЕ РЕБЯТА!*

*Отзывы об этой книге просим  
присылать по адресу: 125047,  
г. Москва, ул. Горького, 43.  
Дом детской книги.*

**Сергиенко К. К.**

**С32**      Бородинское пробуждение: Повесть/ Рис.  
Л. Дурасова.— 2-е изд.— М.: Дет. лит., 1981.—  
206 с., ил.

В пер.: 50 к.

Книга о решающих днях Отечественной войны 1812 года, о Москве в канун французского нашествия, о Бородинской битве.

**С** 70803—059  
**М101(03)81** 35р—81

**Р 2**



Сканирование - Беспалов, Николаева  
DjVu-кодирование - Беспалов



50 коп.

13

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



К. К. СЕРГИЕНКО • БОРОДИНСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ



К. К. СЕРГИЕНКО  
БОРОДИНСКОЕ  
ПРОБУЖДЕНИЕ

Д